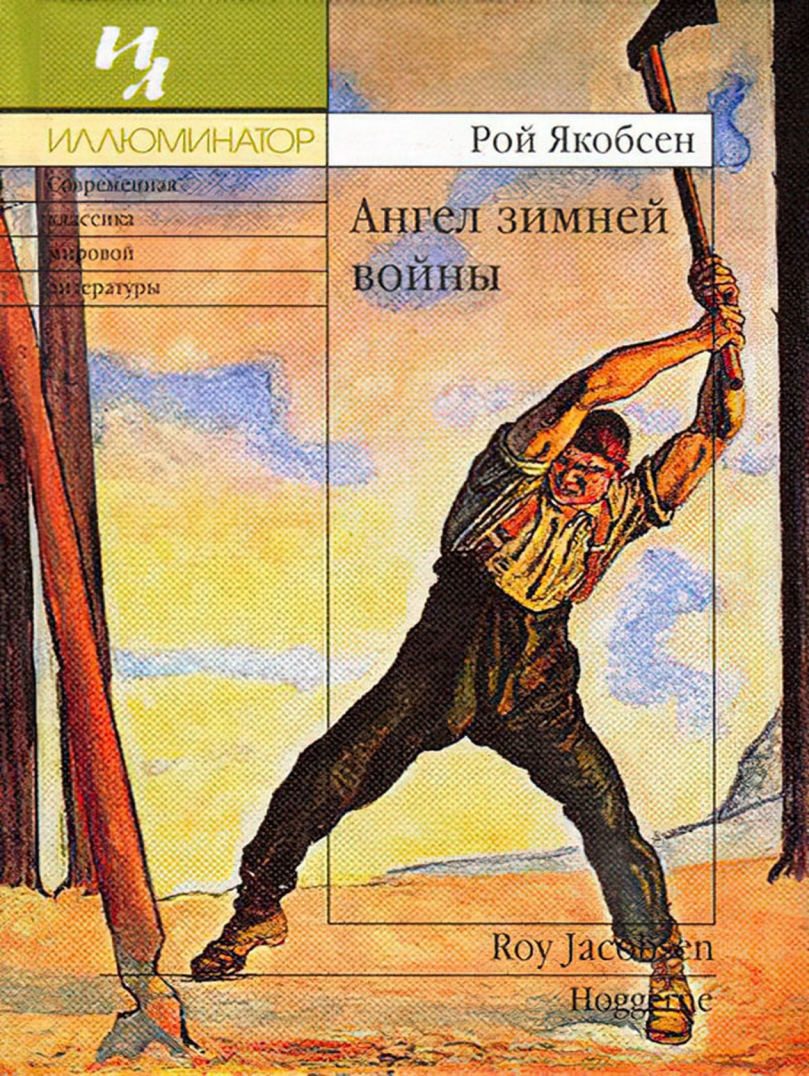

ИЛЛЮМИНАТОР
Современная классика мировой литературы
Рой Якобсен
Ангел зимней войны
Roy Jacobsen
Hoggerne

Ангел зимней войны
Рой Якобсен

Аннотация
Рой Якобсен. Ангел зимней войны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Аннотация

Рой Якобсен — едва ли не самый читаемый в мире норвежский писатель. Он дважды номинировался на премию Северного совета, а за книгу «Ангел зимней войны» получил сразу несколько наград — от радиослушателей, от Союза молодых критиков и приз «Книга года — выбор молодежи». Это роман об одном из ключевых моментов русско-финской войны. В ноябре 1939 гола на пути наступающих русских войск оказывается городок Суомуссалми. Финны решают эвакуировать жителей и спалить город дотла. Покидая навсегда свои прибранные дома со свежевымытыми полами и кучками дров у порога, из города уходят буквально все, даже собаки и кошки. Но один человек, невзирая на уговоры и угрозы, не трогается с места — бесхитростный и наивный Тиммо, чудак, каких поискать. И вот уже от него зависит существование русских солдат, застрявших на пепелище, в темноте и холоде полярной ночи.

Рой Якобсен
Ангел зимней войны

Если перед тобой Сократ и Карл XII и первый говорит: «Иди со мной, я преподам тебе урок философии», а второй зовет: «Нет, вперед со мной — разобьем наголову русского царя!», то всякий последует за Карлом, потому что это требует мужества, а философия не требует ничего.

Сэмюэль Джонсон

1

Суомуссалми сожгли еще 7 декабря, как только были эвакуированы четыре тысячи жителей — все, кроме меня, я здесь родился, прожил всю жизнь и не представлял себе, как можно жить где-то еще, поэтому когда передо мной вдруг возник некто в белом маскхалате и зачитал мне приказ покинуть город, я вдавил каблуки поглубже в снег, и все — с места меня было уже не сдвинуть; так оно всегда бывает, в любом месте найдется хоть одна поперечная душа, и в Суомуссалми таким строптивцем оказался я.

Я стоял как соляной столб, один, и смотрел на бурное пылающее море, разлившееся посреди вымороженных лесов, смотрел с ужасом и, как ни странно, с азартом, Суомуссалми был славный городок, мой единственный, не просто нагромождение стен и крыш, а живое родное место, но теперь от него осталось лишь несколько домов; когда море потухло, я не насчитал и двух десятков.

Лавочник Антти, уезжая, пугал меня — не вздумай здесь оставаться, нельзя, вот-вот придут

русские и убьют тебя, Тиммо.

— Я знаю русских, — ответил я, — дебилов они не убивают.

— Тиммо, не дури. Они убивают всех — кого знают, кого не знают. Война есть война.

На это я мог повторить, что никто меня не тронет, но какой смысл повторять, подумал я, и лишь посмотрел на Антти, как смотрю всегда, когда не вижу нужды в словах, я ведь давно работаю на Антти, с тех пор, как умерли мои родители, и он ни разу не унизил меня, не сорвался в сердцах, хотя, бывало, конечно, серчал на меня.

— Поленья слишком длинные, — мог он сказать.

— Ты говорил — полметра, — отвечал я и брал, например, полено из кучи и постукивал им по ладони отчасти даже с угрозой, чтобы напомнить Антти, как все было на самом деле, пусть заберет назад свои обвинения.

— В церкви печка неглубокая, — упорствовал он, — пастор отказывается покупать дрова.

— Продай их Марье.

— Когда ты последний раз видел в ее кафе посетителей?

— Могу порубить напополам, выйдет двадцать пять сантиметров, отдашь учителю Мякинену. В

школе печки маленькие.

— Получится двойная работа, — упирался Антти, — а ты и так гроши зарабатываешь.

Вот это он уже зря; каждый человек живет на этом свете так, как считает нужным, все это знают, но странное дело — приходится все время это повторять; деньги — вот на что они мне, у меня есть свое хозяйство, поле, лес, я умею охотиться и рыбачить, Антти дает мне муку, молоко и консервы бесплатно, точнее, он вычитает их из того, что я зарабатываю рубкой дров, хотя это как считать, цены и за дрова, и за молоко он же сам и назначает, наверняка низкие и те, и те, потому что Антти хоть и скряга, но жалеет меня — меня жалеют в округе все, кого не отвращает мой вид и кто не брезгует мной, о таких я и вообще никогда не думаю, ведь даже те, кто мне сочувствуют, легко могут иной раз вызвериться, вдруг притомившись от своей сердобольности; сегодня человек называет меня кретином, а завтра дает молока или мяса, мне редко выпадает все сразу, такой уж я человек, многого мне не дается, пришлось научиться ценить все, что есть, включая и то, что другие считают сущей ерундой.

Потом я помогал Антти с сыновьями, у него двое мальчиков, складывать вещи, ему хотелось

забрать с собой и то, и это — все.

— Ты возвращаться, что ли, не собираешься? — спросил я, пока мы тащили ходики, а потом здоровенную швейную машинку, которой он не пользовался с тех пор, как умерла Анна, жена его.

— Собираюсь, — ответил он. — Но дом сожгут, а я смотреть на это не желаю. Пошевеливайся.

— И ты будешь строить новый дом?

— Да, ровно на этом самом месте. Земля-то никуда не денется.

— Я за ней присмотрю.

Но Антти не улыбнулся в тот день. Он сказал, что ничего страшнее за все сорок пять лет своей жизни не переживал, за исключением разве что смерти Анны, умершей день в день год тому назад. И большие сани, и двое поменьше мы завалили скарбом: мебель, постельное белье, одежда, ложки-вилки, какие-то вещи Анны; мы перегрузили в сани все консервы и бакалею из лавки, а остальное уничтожили, в чужих теперь, с дверями нараспашку комнатах остались только печки, эхо и комки пыли, жавшиеся вдоль плинтуса, как перепуганные крысы.

— Мне можно тут жить? — спросил я и кивнул на каморку, где для меня стояла кровать и лежали

кой-какие мои вещи.

— Дом сожгут! — закричал Антти. — Ты своей башкой это понимаешь?

— Если я здесь буду жить, возможно, мне удастся спасти дом. Тогда тебе не придется строить новый, — ответил я.

Антти взглянул на меня жалостливо и презрительно. Но потом положил руку мне на плечо и расстроенно отвернулся в другую сторону, у него была такая привычка — отворачиваться, когда он чувствовал, что не надо ему сейчас глядеть на меня, не надо испытывать нашу хлипкую дружбу на прочность.

— Тогда тебя убьют, — объяснил он. — Это приказ Маннергейма.

— Сам разберусь, — ответил я.

На том мы и разошлись; каждый остался при своем мнении, как обычно, и радоваться тут было нечему.

Мы сговорились, что Антти уведет с собой моего коня, Кеви. Наконец дюжий Антти с трудом, со стоном, втиснулся в передние сани и взял под уздцы второго конька, запряженного в сани Харри, который в свою очередь держал за узду коня, тянувшего сани, где ехал младший, Юсси, последним трусил мой Кеви, вольный как птица.

Их санный поезд, покативший, скрипя полозьями, к мосту через Хулконниеми, был похож на небольшой состав, локомотив и два маленьких вагона, и ни один из седоков не оглянулся назад, насколько я видел, — я стоял на крыльце и махал, пока не скрылись из виду они и сотни других саней, повозок, машин, живность и трактора даже, ибо все, что ходит или хотя бы ползает, покинуло Суомуссалми в этот самый черный в жизни Антти день, седьмого декабря 1939 года.

Такой тишины не знал еще ни один город. Нигде ни огня, не слышно ни шагов по сухому, как песок, насту, ни голосов, ни мычанья, ни лая собак, и в стойлах не переступают, толкаясь, коровы и лошади — весь привычный шум, все звуки жизни — все пропало, и самое странное — дым из труб; то, что еще недавно было городом с четырьмя тысячами жителей и таким же, если не большим, поголовьем скота, за несколько часов превратилось в кучу пустых деревянных скорлупок, застывших не дыша среди леденящего холода зимы, властвовавшей над здешними лесами уже в те времена, когда о создании человека и прочих тварей еще и не помышлялось.

Я покинул магазин, чтобы побродить среди внезапно наступившей пустоты, мне хотелось

почувствовать ее, попробовать на ощупь. И я обнаружил, что многие дома не заперты, двери нараспашку, и что некоторые хозяева сами сложили кучкой у входа дрова и сено, чтобы солдатам легче было запаливать огонь, причем я то и дело узнавал свои дрова, узнавал по тому, как они распилены, наколоты, в том, что касается дров, у меня свой стиль.

Некоторые даже натаскали дров в дом, разложили вперемешку с бумагой и сеном на полу, в шкафы и на лестницах. И видно было, что не все, как Антти, вывезли весь скарб подчистую. Одни забрали только мебель из спальни, другие не смогли расстаться с кухней, в третьем доме все было вверх дном, словно здесь побывали воры или здесь господствовала паника, беспорядок был иного свойства, казалось, тут нарочно крушили все подряд.

Зато из гостиной старика Луукаса и его жены, тетушки Роозы, как все ее звали, не исчезло ровным счетом ничего, наоборот, во всех комнатах пахло свежевымытыми полами, кровати были застелены чистым бельем, и царил такой порядок, на загляденье, словно старики навели лоск к Рождеству. По стенам висели фотографии троих сыновей и родни из Раатеваара, городка у самой

границы, по слухам, еще неделю назад оказавшегося в тылу у русских, подступавших теперь к Суомуссалми.

Я к Луукасу и Роозе заглядывал часто, дрова завозил, и старик однажды щелкнул и меня тоже, с Кеви и телегой, я взобрался на нее и стоял точно ховдинг. Все же по стенам развешивают только портреты родни, меня, понятно, припрятали куда-нибудь в комод или шкаф. Там нигде я рыскать не стал, лишь прошелся по дому, поразительно чистому, уютному, не просохшему еще после уборки — тут было все, что нужно человеку, да еще и с воспоминаниями в придачу, но все теперь было мертво, мертво, как снег.

В общем, я решил спасти их дом тоже, на пару с лавкой Антти, отыскал вилы и оттащил стожок соломы, сложенный Луукасом у входа в хлев, и спихнул в навозную яму; по дороге обнаружил половину свиной туши, то ли забытой стариками, то ли брошенной нарочно, чтобы сгорела вместе с хлевом.

Недолго думая, — что здесь еще придумаешь? — я порубил промороженную тушу на куски, завернул их в брезент и развесил неподалеку в лесу по деревьям, мороженое мясо может храниться так неделями, месяцами даже, если

звери до него не доберутся. Я стоял и прикидывал, не поставить ли мне заодно ловушку на соболя, и тут в первый раз услышал войну, неясный гул моторов в зимней безветренной тишине; он медленно приближался с той стороны, куда уехали эвакуированные, потом прогремело несколько выстрелов, а где-то далеко-далеко, на востоке, грохнул пушечный залп.

Я вернулся по темным улицам назад и очутился у лавки Антти одновременно с первыми пересекшими мост машинами, возле меня остановился джип, а прочий транспорт повез дальше в город солдат в белом, они спрыгивали на землю и врывались в беззащитные дома с приготовленными у дверей канистрами с керосином, соломой и щепками.

Мужчина лет тридцати вылез из джипа и смерил меня взглядом, означавшим, возможно, что он отказывается верить собственным глазам: откуда живая душа в подлежащем уничтожению городе?

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Я здесь живу, — ответил я.

— Город эвакуируется, — сказал он. — Русские будут здесь через… вероятно, уже утром.

— Мне все равно.

Он опять посмотрел на меня как на чудо-юдо. Его шофер тоже вылез из машины и зашептал что-то ему на ухо, тихо, но слух у меня отличный, после чего первый — очевидно, офицер — вернулся и спросил меня, правда ли, что я местный дурачок. Он и не подумал приправить вопрос одной из этих гаденьких улыбочек, а задал его как самый обыкновенный, как если бы его интересовал мой возраст, например, и я ответил так же просто, что, видимо, да и что я здесь останусь, хоть убивайте, что я никогда не покину Суомуссалми, есть в жизни вещи и поважнее одной жалкой человеческой жизни.

Он улыбнулся, невольно, вероятно.

— Оружие у тебя есть? — спросил он, терпеливо обсасывая сосульки, намерзшие в его нечесаной бороде и звякавшие друг о друга.

Я сходил в дом, в заднюю комнату, где я сложил свой инструмент и все, что имелось у меня из еды, и принес свое ружье.

— «Музин», — сказал он задумчиво и погладил старинное сокровище голыми руками, оценив, значит, показалось мне, идеальное состояние ружья. — Боевое?

— Да. От отца осталось.

— Патроны есть?

Я отдал их тоже. Он сложил все в машину и повернулся ко мне вполоборота, похоже, необходимость принять решение мучила его настолько, что сил раздумывать у него уже не было.

В окнах окрестных домов заполыхало пламя, между машинами и домами туда-сюда с криками сновали люди, и в секунду, когда вышибло первые стекла, раздался двойной взрыв, и оба соседних с лавкой Антти дома накрыло огнем. От сильного жара мы попятились, офицер дал шоферу знак отогнать машину в безопасное место и медленно побрел следом, а я остался стоять, спину палил жестокий, как разъярившееся солнце, жар.

Пройдя несколько шагов, офицер остановился, вернулся назад и потянул меня за собой, внизу у моста он достал кисет и предложил мне закурить.

Я отказался.

— Это мы тоже должны сжечь, — сказал он, кивнув на лавку Антти, а из его дрожащих ноздрей выползли, как белые змеи, две струйки дыма.

— Я могу это сделать, — вызвался я. — Я не боюсь, — прибавил я. — Не боюсь ничего.

Теперь жарило так, что нельзя было стоять уже и на улице. Я видал пожары прежде, но не так близко, и одиночные, сейчас же меня совершенно

сбило с панталыку не столько то, что невыносимо пекло, а звуки: взрыв, его подхватывал следующий — без промежутка, как непрерывное извержение мощного вулкана, порождающее шквальный ветер, в нашем безветренном аду вдруг разыгралась настоящая буря.

— Война без пожаров что сосиски без горчицы! — прокричал офицер мне в ухо. — Идем.

Он потрусил к мосту. Мне ничего не оставалось, как припустить за ним следом, я нагнал его, и некоторое время мы бежали рядом. Я без труда держал его темп, уж не знаю, пытался он оторваться от меня или нет, бежал вроде не напрягаясь, но его как будто злило, что я шел ноздря в ноздрю до самой опоры моста, где собрали в ожидании команды весь транспорт: Суомуссалми стоит на мысе у озера Киантаярви, которое обернулось вокруг города десятью своими километрами, точно змей с наростами на спине, и от моста я видел, что дома на противоположном мысе тоже пылают, но их гораздо меньше, так что отряд сумеет, видимо, пройти мимо без особых неприятностей, если только он не двинется по льду к южной части озера, как поступил бы я, доведись мне командовать этим войском и планируй я когда-нибудь вновь взять город, который

для начала по тактическим соображениям сжег.

Но вслух я этого не сказал, и офицер снова упер в меня по-зимнему усталый взгляд и не сводил его, пока раздражение не выросло настолько, что офицер сумел наконец принять решение.

— Я не могу оставить тебе ружье, — сказал он. — Оставлю — тебе же хуже будет.

Я кивнул.

— Но храни его хорошенько, — сказал я.

Он кисло и почему-то вдруг отрешенно буркнул «да», а потом криво улыбнулся. И только когда машины, повинуясь его громким командам, покатили через мост, я сообразил, что он в последний раз прикидывает, надо ли ему увезти меня силой или просто выкинуть меня из головы.

— Ты давно не спал, — сказал я.

Он удивленно вскинул на меня глаза.

— С прошлой недели, ага?

Я отступил на несколько шагов.

— Меня ты все равно не увезешь! — крикнул я. — Я брошусь в огонь, и привет.

До него наконец дошло, что я действительно сделаю это. Тут как раз подъехал его джип, офицер распахнул дверцу, что-то сказал шоферу и повернулся ко мне, сжимая в руках белый полушубок, бормоча, что он защитит меня от холода, во вся-

ком случае, поможет бежать незамеченным, если я все-таки решусь на это. Я не шелохнулся.

— Русские белые или черные? — спросил я.

Он засмеялся, швырнул полушубок назад в джип и крикнул:

— Черные! Черные как черти!

Потом, кажется, буркнул: «Удачи тебе», — так тихо, что я не расслышал, может, он, наоборот, выматерился, но я предпочитаю думать, что он пожелал мне удачи, садясь в джип, который покатил вслед за другими машинами по мосту в Хулконниеми, на запад, прочь от наступающих русских.

С этим офицером мне предстояло встретиться вновь, его звали Олли, и в тот момент он был в чине лейтенанта, как и мой отец в начале доставшейся ему войны, за время которой он дослужился до капитана, а Олли так и завершил свою лейтенантом.

2

Я помчался назад в город и увидел, что лавка Антти не охвачена огнем целиком, во всяком случае, не полыхает всерьез, лишь что-то тлеет на кухне и окна в гостиной и спальне, точно густой простоквашей, залепило дымом. Но вырывавшиеся из соседних домов языки пламени не давали подступиться к парадной двери, я побежал в обход и только собрался вышибить заднюю дверь, которой пользовался, когда не хотел мозолить глаза Антти, как в последнюю секунду сообразил, что только довершу дело — от внезапного порыва ветра огонь мгновенно полыхнет со всей силой, и стал, наоборот, забивать щели и подвальные окна снегом, чтобы поплотнее закупорить дом.

Тут и грохот и гвалт заглушил мощный взрыв — взлетел на воздух мост, — и в свете небывалого всполоха я увидел, что лед на Киантаярви вскрылся, и озеро стало похоже на реку во время весеннего ледохода. Вдалеке, сквозь кисейную тень леса, я различал что-то текучее; оно двигалось, мельтешило и сливалось в серую реку, лениво ползшую по льду в сторону паромной

переправы у Хаукиперэ, тем путем, которым я сам повел бы своих солдат, будь я Олли или его командиром. Не знаю, насколько успокоило меня мое наблюдение, в такие минуты человек думает неотчетливо, я вот и вовсе не думал, просто продолжал делать то, чем был занят: конопатил снегом швы и щели и смотрел, как последняя дорога на восток уходит под лед.

Теперь дым в доме Антти сгустился так, что стал похож на глухую стену, но сквозь заиндевевшие окна я видел, что он оставался, к счастью, серым, не желтел и не краснел, и я понял, что обойдется: и дом и лавка устоят.

Я обогнул лавку, зашел в склад, вынес свой инструмент и мешок с едой, унес все в безопасное место, в лес — а потом выжидал там много часов, глядя, как все, что жители Суомуссалми создали-нажили, исчезает в черном дыму огня, запаленного такими же людьми или их вождями; я сам удивился, но больше всего меня потряс вид горящей школы, которую я упрямо мечтал подпалить, пока в ней мучился, но теперь в пепел превращалось мое детство, воспоминания и друзья, хорошие и плохие, и маленькая церковь, она горела лучше всего почему-то, я сейчас только увидел, что она была самым красивым зданием

в городе, меня в ней крестили, в ней конфирмовали, из нее я думал отправиться в последний путь, как сделали родители. Сначала огненное море напоминало огромную, разодранную звезду, протянувшую свои хищные ручищи по всему городу, потом стало похоже на шипящего змея, превратилось в сеть, набитую серыми облаками, волнами перекатывающимися в этом безумном шторме без ветра, нарастая, чтобы внезапно вздыбиться, рухнуть и исчезнуть в пышущей лавине, — так обрушивается гора, подумал я, пожар — это лавина.

В лесу я укрывался до глубокой ночи. Снег на деревьях таял, на кусачем морозе капель на лету превращалась в градины, в белые камешки, которые впечатывались в черную сажу под ногами с шипением, с каким ставят тавро на коня, в фундаментах что-то тлело, повсюду зияла голая земля, покрытая коркой пепла и слякоти, страшная, словно гнойные воспаленные раны, гангрена, но постепенно земля вновь закаменела на морозе, обратившем бездомные улицы и проулки в бетонную серую пустошь. Когда занялось утро, насколько вообще возможно утро после такой ночи, то удивительная штука — картина показалась мне более реальной, чем когда дома

еще стояли целые и дрожали, как беззащитные дети. Сожженный город должен выглядеть отвратительно, словно кратер гниющей язвы на белой коже, это ужасно, мерзко, но понятно.

Выяснилось, что домов двадцать уцелели, обгоревшие или недогоревшие, со скарбом, причем не только лавка Антти, но и дом стариков Луукаса и Роозы, который я на всякий случай запер на ключ. Там сгорели только предбанник и часть крыши, так что я прямиком вошел в дом через зеленую кухонную дверь и, обнаружив фотографии сыновей и родни из Раатеваара на прежних местах, сразу понял, что останусь жить здесь, а не в пустой и проетой дымом лавке Антти, тут у меня все, что надо: стулья, стол, кровати, тарелки и приборы, правда, никакой еды, но у меня была половина свиньи и та малость, что я прихватил, пока мы собирали в дорогу Антти.

К тому же в кладовке я отыскал бочонок свиного сала, ведро замороженного молока и мешок крупной соли. Хлев сгорел, но не дотла. Я стал растаскивать закопченные стены, сухая ель отлично рубилась, и к вечеру соорудил приличную поленницу, на три-четыре недели топки.

Я сходил в лес, принес тушу, половину засолил, а остатки повесил в вымороженной кладовке.

Потом я, как если б жил дома, приготовил ужин, поел и сказал себе, что будь у меня еще и кофе, все было бы почти хорошо. С этой мыслью я заснул — уронив голову на крошки на столе, а снилось, что мне надо открыть запертую дверь, а не могу, потому что не нахожу своего имени, без этого никак, а где оно? Я тру глаза, уже ничего не вижу, а имени нет как нет — сон кончился только тогда, когда я впал в полное отчаяние, проснулся я измученный и разбитый.

В зеркале над хозяйственной раковиной я увидел, что глаза у меня красные, как давленая брусника, залиты дымом и слезами, брови опалены, щеки пламенеют, а кожа на носу тоньше мушиных крыльев. Но надо было одеваться и идти в город, узнавать, что да как, я должен был пройти через это, и меня много раз спрашивали, не пожалел ли я хотя бы в эту секунду, что остался, но ответ всегда был — и будет: нет.

Те, не знаю сколько, часы, что я спал, шел снег, и теперь стояла бесподобная тишина, даже выстрелов в лесу не было слышно, только мертвенно глубокая зима и в небесах и на земле.

В тлеющих руинах мало что удавалось отыскать, лишь разлетающиеся хлопья сажи да ставший сизым инструмент, его я выуживал длинной

железкой и, остудив в снегу, складывал в кучу, тоже без всякой мысли, так прибираешься, заметив непорядок в вещах, особенно любимых вещах, а я всегда был неравнодушен к инструменту; здесь попадались лопаты и вилы без черенков, ломы, куски цепей, упряжи без кожи и рукоятей, ампутированные обрубки, которым я отдал весь день, откапывая их и стаскивая в кучу перед домом Луукаса и Роозы. Взявшись за дело машинально, я разыгрался и стал прикидывать, как прилажу новые черенки и ручки, как верну к жизни все это железное добро, благодаря которому город когда-то поднялся и расцвел; отвертки, молотки, кувалды, коловороты, стамески, кантовальные крюки, клинья, подковы, рамы детских колясок, насосы, лестницы, керосиновые лампы, оконные шпингалеты и велосипедные колеса… Некоторые находки нелегко было опознать: часовой механизм, оплавившаяся набойка, обрывок собачьей цепи, шкатулка для драгоценностей, гребень для сбора ягод, дверная ручка, кронштейн для полки и пригоршня писчих перьев, их я нашел на развалинах школы; подставка от глобуса, куча рулонных штор — обугленные скелеты, мотки проводов, похожие на окаменевших насекомых. В подполе под маслобойней, не сгоревшей, но раз-

валенной взрывом моста и со снесенной крышей, я нашел половину двухкилограммовой упаковки кофе, в доме по соседству, в подполе под тлеющей крышкой, — мешок прокопченной до коричневы муки и лукошко черных пропеченных яиц, а в следующем погребе стояли четыре банки перекипевшего ревеневого варенья, канистра теплой водки, пять покореженных консервных банок без этикеток и несколько килограммов крупы с копотью.

Воодушевленный находками, я стал обходить уцелевшие дома, но в них было так же неуютно, как на улицах города перед пожаром; я бродил среди голых людей, которые уже не дышат, я почти ничего не касался руками, только смотрел и снова и снова разочарованно качал головой, открывая пустую кладовку.

Я выяснил две вещи: во-первых, кое-кто в городе все же уцелел — кошки, нескольких я видел своими глазами и следы, этих следов становилось все больше, они петляли, пересекаясь, по снегу, сеявшемуся на черноту искристой мукой.

Еще я натолкнулся на письмо, нашел его на кухонном столе в доме за школой, здесь жила бабка Пабшу, которую мы звали Карга, потому что, сколько ее помнили, всегда она была скрюченная

и серая, как коряга. Она тоже оставила свой дом прибранным и вымытым, как и Луукас с Роозой, я почуял в этом тайну и вскрыл письмо.

У старухи был трудный почерк, но читаю я хорошо, а она сперва еще провела линеечки сикось-накось, а потом написала карандашом дрожащей рукой, чтобы солдаты жгли и не стыдились, она все вымыла и вычистила только для того, чтобы подарок, который она делает Финляндии, был действительно хороший.

Но дом не сожгли.

Присмотревшись, я увидел, что письмо заклеили второй раз, что грязные нетерпеливые пальцы порвали конверт и, видимо, прочли письмо еще до меня, на отмытом дочиста кухонном полу валялась куча дров и бересты, воняющая керосином тряпка, а пустая канистра была брошена под мойку. Я поискал коробок или следы неудавшегося поджога, но их не было.

Я посидел, перечитывая письмо, вернее, тупо в него уставившись, не различая букв толком, пока рассудок вбирал в себя то, чего человек не в силах понять полностью, и наконец до меня дошло, что солдат, прибежавший поджигать дом, прочитал письмо и не смог выполнить приказ, не смог сжечь подарок Финляндии.

Означает ли это, что мы обречены проиграть эту войну и исчезнуть как народ, думал я. Но потом стал думать, что страна, где такие матери и солдаты, не может проиграть, что бы ни происходило, как раз такие народы и выживают тогда, когда другим это не удается; поэтому меня несказанно обрадовало, что и еще четыре дома были прибраны настолько старательно, что в заброшенных комнатах сияли пробравшиеся внутрь лучи солнца. А в соседнем с Луукасом доме я нашел настенные часы и решил позаимствовать их на время, взять на хранение, что ли, — короче, я прихватил их с собой, часы с совершенно исправными колесиками, циферблатом, стрелками и ключиком, они издавали звуки, напоминавшие биение пульса какого-то существа, возможно, последнего друга человека.

Я вернулся к Роозе, растопил печь на кухне, одним из молотков вбил в стену сизый гвоздь и повесил часы среди родственников из Раатеваара, а потом взялся печь хлеб и обжаривать кофе; так неторопливо, так серьезно я не ел уже давно — на десерт у меня было теплое ревеневое варенье, в которое я добавил чуточку молока. Когда я кончил ужинать, кончился и день, наступил вечер.

В доме были лампы, керосин и свечи, но я решил подождать, пока тьма по-свойски поглотит этот самый необычный день моей жизни, который особой тишиной, кошачьими следами и чистенькими, вымытыми домами переделал или запустил в другую сторону ту механику, которая думает за меня, когда я сам этого не делаю, или даже снова вернул меня к тому, чем я был до всего этого, в такие моменты трудно понять, изменился ли человек или просто лучше себя узнал.

Когда стало совсем темно, я вышел наружу послушать — и ничего не услышал. Совсем ничего. Я подумал, что это странно, но было бы еще более странно, если бы я услышал сейчас эту войну, обложившую меня со всех концов, но еще не наступившую, она как завтрашний день: не придет — пока не придет.

Я вернулся в дом, запер дверь, поднялся на второй этаж и занял комнату, где жил, насколько я помнил, младший сын Роозы и Луукаса, Марку, который воевал на Карельском фронте, где действительно не просто окаменела жизнь, а уже шла настоящая война, солдаты — и финны, и русские — дохли как мухи, — я ощупал лицо: оно уже не кипело, а стало коркой, грубой, шершавой и обветренной, это нормально для человека,

который попал в такой переплет, но все пережил и уже пообвыкся.

3

Ничто не сравнится с той воздушностью в мыслях, когда лениво просыпаешься в кровати, из которой не надо вылезать, и думаешь о деревьях, тысячах деревьев, падающих — не сами, для этого нужен человек или страшная буря, — верхушка к верхушке и лежащих ровно, как по приказу, точно солдатский строй или штакетник, и слушаешь ветер, голос леса, насыщенный треском мороза, пением птиц, зудением насекомых, дождем, один снег беззвучен, но я слышу скрежет гусениц, вновь стоя перед огромной дверью и выискивая свое отсутствующее имя — клацанье железных обручей, рычание моторов, топот бегущих сапог, крики, дом и кровать ходят ходуном, как чашка кофе в пустом, несущемся на всех парах вагоне.

Но я не спешу, не тяну время, чтобы все обдумать, просто никуда не тороплюсь, долго стряхиваю сон, одеваюсь для наступившего тем не менее дня и тихо спускаюсь на кухню, где на звук моих шагов резко оборачивается незнакомый человек, наставляет на меня ружье, его чумазое, неухоженное лицо заливает паника — и

он начинает орать.

Я понимаю, что он выкрикивает приказ. И что речь обо мне, но кричит он на языке, из которого я знаю всего несколько слов, поэтому я поднимаю руку и с успокоительной улыбкой тихо пячусь на улицу, где чуть не падаю, запнувшись о груду инструментов, теперь припорошенных снегом и схваченных инеем, и обнаруживаю, что город вновь полон людьми, кругом толпа бегущих, идущих, едущих верхом и на машинах мужчин, чужие черные силуэты, и их орудия, рвущие тишину и забивающие все кругом запахами и звуками, никогда здесь не существовавшими, тысячи этих чужих силуэтов, прихрамывающих, странных, словно вышедших из земли и не приспособленных к свету дня.

Мужчины эти устремляются ко мне со всех сторон и пялятся, пялятся на меня невидящими глазами. И поскольку никто не хочет брать на себя принятие решения, все только передергивают затворы и орут, в бешенстве, злясь друг на друга, я спокойно продолжаю двигаться на два шага впереди нетерпеливого дула, по-прежнему с поднятыми руками, сквозь строй белых взглядов, синих губ и непонятных криков, иду к позиции, составленной из танков на площадке перед со-

жженной школой, где меня встречает человек, в котором я чую офицера.

Он вытягивает руки, выставив ладони, словно приветствует меня на манер индейцев, но я понимаю, что он хочет остановить меня, и останавливаюсь на приличном расстоянии, а он кричит что-то через плечо выходящему в этот самый момент из огромной палатки белобрысому, единственному тут не в каске, а в шапке с поднятыми ушами, он похож на финна и обращается ко мне на моем родном языке, пусть не очень грамотно, и сперва только сухо здоровается, я отвечаю.

Помолчав, он начинает переводить то, что произносит, вернее, отрывисто лает офицер, но при этом толмач держится спокойнее и доброжелательнее своего командира, такое чувство, что я видел толмача раньше, возможно, дело тут в том, что он говорит по-фински, все лучше с каждой минутой допроса, пока бестолкового, поскольку я только повторяю снова и снова, что, кроме меня, в городе никого не осталось, а я отказался эвакуироваться и никуда отсюда не уеду, раз я здесь вырос, — что бы ни происходило.

Мои слова — точка в точку повторяющие то, что я сказал Антти и Олли, — звучат сейчас луч-

ше и правильнее, по-настоящему обдуманно, хоть в них ни капли обдуманности, в этом бреде сумасшедшего, для всех очевидного, но к ним ничего не добавишь и не убавишь, потому что они чистая правда.

Офицера все больше и больше злят мои ответы, я долдоню одно и то же, а толмач знай твердит «почему, почему», пока я наконец не говорю:

— Я рубщик дров. Отвечаю за тепло, чтоб у людей дрова были.

Становится тихо, наконец-то. В изможденном лице раздраженного офицера что-то меняется, ему удается взять себя в руки — или смириться с обстоятельствами? — и тогда он вдруг издает прямо-таки утробный рык, смысл которого солдаты нехотя передают дальше по цепочке, и вскоре на вычерненном ночью льду уже стоят сто, наверно, этих пришлых мужиков и ржут, как будто сроду ничего смешнее не слыхивали.

Смех все же лучше передергивания затворов, сейчас в меня никто не целится, поэтому я нахально опускаю руки, но с места не двигаюсь, дескать, понимаю: стоять мне или двигаться — решает здесь офицер. Его это действительно смягчает.

Он подходит ближе и рассматривает меня, он,

видно, сомневается, что я правда тот, за кого себя выдаю; я изо всех сил не отвожу взгляда. Это здоровый широкоплечий носатый мужик лет сорока, у него узкие обметанные губы, которые он беспрерывно кусает, невыспавшиеся и усталые глаза, точно как у Олли, осунувшееся лицо обросло недельной щетиной, которая беспорядочными клочьями покрывает поразительно белую кожу.

— Мерзнешь? — спрашиваю я, втайне надеясь, что наконец-то угадал, что с ним не так, откуда эти неловкие дерганые движения, каждое через не могу, каждое на грани срыва.

— Это вопрос? — бесцветно спрашивает толмач, отвернувшись в другую сторону.

— Да, — говорю я. — У него такой вид, как будто он промерз до костей, и уже давно.

Эти мои слова продолжают тему, на которую я только что намекнул: стужа, дрова, тепло. Все никак с войной не связанное, и толмач переводит, насколько я могу судить, ничего от себя не добавляя. Но между этими двумя происходит что-то странное, офицер злится на толмача больше, чем на меня, тот оправдывается.

— Ты точно перевел? — встреваю я.

— Заткнись, — рыкает он через плечо, отвечает на новые обвинения и только потом оборачива-

ется ко мне.

— Он не верит, что ты спросил, не мерзнет ли он.

— Тогда повтори и скажи, что я хочу показать ему кое-что.

Толмач задумывается, потом скучным ровным голосом произносит несколько слов по-русски, уткнувшись взглядом в носки своих сапог. Офицер переводит взгляд с него на меня и что-то буркает сквозь зубы. Толмач покорно кивает и снова поворачивается ко мне.

— Ты действительно финн?

— Конечно.

— Документы есть?

— Дома, на хуторе в Лонкканиеми, двадцать километров от города, на север.

Толмач переводит, в ответ — пара кивков и пара слов с фырканием.

— Что ты хочешь нам показать?

Я взмахиваю рукой, как будто приглашаю в дом Луукаса и Роозы: добро пожаловать, господа, к нам, недостойным. Офицер задумывается на миг и тут же делает знак, чтоб я шел, он пойдет следом. Мы гуськом доходим до дома, я придерживаю открытую дверь, но попусту — офицер отказывается входить в дом, пока его солдаты не

обшарят его сверху донизу, боится, видно, мин или растяжек из гранат. Пока они прочесывают комнаты, я показываю ему поленницу, только что сложенную мной из остатков Луукасовых дров. Офицер сердито кивает и переводит взгляд на гору железного лома, поддает по нему ногой и через толмача спрашивает, что это такое. Инструмент и всякий скарб, который я собираюсь починить на досуге, говорю я, чтобы подкрепить почти сложившееся у него представление о моей личности.

Получив рапорт, что все чисто, офицер пожимает плечами и вместе со мной, толмачом и двумя солдатиками заходит на кухню и усаживается за хозяйский стол; я давай шустрить, варить кофе, резать хлеб; солдатики встают на пост по обеим сторонам двери. Офицер что-то говорит, но толмач не отвечает и не переводит. Офицер снова говорит что-то, похоже, то же самое.

— Что он сказал? — спрашиваю я.

— Он просил не переводить, — отвечает толмач.

— Но он же мне говорил?

Толмач говорит что-то офицеру, тот отвлекается от своих размышлений и отвечает коротко, но охотно.

— Он хочет знать — город сожжен? — спрашивает толмач.

— Чтобы вам ничего не досталось, — говорю я, — ни еды, ни крыши над головой.

— Это он понял, но боится, что это западня.

У меня перед глазами встают тени, серый поток беженцев, утекавший во время пожара по льду через Киантаярви.

— Зачем же вы тогда сунулись в западню?

Толмач снова оторопело таращится на меня, точно не веря собственным ушам, а потом вдруг как завоет на небо, боясь, видимо, что кто-нибудь примет его ярость на свой счет. Но тут часовой у дверей засыпает и грохается на пол, отчего сразу приходит в себя и встает, бормоча, видимо, извинения. По распаренным лицам солдат я понимаю, что так действует на них внезапное тепло, и протягиваю часовому кусок хлеба. Покосившись на офицера, который смотрит в другую сторону, солдатик запихивает хлеб в рот и жует его, давясь, как голодный пес. Я протягиваю кусок и его товарищу, тот сжирает его точно таким же манером, а офицер раздраженно машет рукой, и толмач смотрит на меня очень-очень внимательно и теперь уже тщательно подбирает слова.

— Как ты думаешь? — спрашивает он меня

опять о ловушке, которую им, возможно, подстроили финны. Я понимаю, что это опасный вопрос, но он может спасти меня, если я сумею ответить на него так, чтобы офицер уверился, что я не просто придурок, но придурок вполне безобидный.

— Я не знаю, — говорю я, наливая кофе в чашки Роозы и пододвигая самую красивую офицеру, который тут же хватает ее и свирепо зажимает грязными рукавицами, рискуя раздавить.

— Но как ты думаешь? — рычит толмач.

Не теряя головы, я выдаю по чашке кофе и часовым тоже, они с шумом отхлебывают его, к явному неудовольствию офицера, потом говорю толмачу:

— Ты будешь переводить то, что ему не понравится?

— Чего?

Я повторяю вопрос.

— Конечно!

— Тогда скажи ему, что я считаю, ты плохо говоришь по-фински, особенно когда сердишься.

Я не поднимаю глаз, но чувствую, как вспыхивает толмач и как у него чешутся руки выплеснуть кофе мне в морду, но вместо этого он цедит несколько фраз по-русски, и офицер поднимает на него удивленные глаза, а потом заливается

грубым смехом.

— Я не все понимаю из того, что ты говоришь, — поспешно добавляю я. — Извини.

Толмач переводит и это тоже, судя по реакции офицера, который долго говорит, и лицо его разглаживается, делаясь все спокойнее и спокойнее, будто тревоги и подозрения наконец отступили. Когда толмач наконец снова обращается ко мне, он и сам выглядит спокойнее, хотя во взгляде его мелькает что-то подозрительное, угрожающее, мне это не нравится.

— У нас нет транспорта отправлять пленных, — говорит он бесстрастно, — но ты можешь остаться, будешь в хозвзводе дрова рубить, нам рубщики нужны.

Я киваю. Он продолжает:

— И мне не надо говорить, что при малейшем подозрении мы расстреляем тебя на месте…

Я смотрю на него вопрошающе:

— Повтори?

Он повторяет, в голосе больше раздражения, чем недоверия…

— Это мне как раз подходит, — киваю я, наконец уловив, куда он клонит. — Дрова рубить я люблю.

Мы долго смотрим друг на друга, пока не прихо-

дим к своего рода перемирию, во всяком случае, он, похоже, решил, что я для него не угроза.

Я спрашиваю, не хотят ли они знать, кому принадлежал этот дом, пока не стал достоянием войны и Финляндии.

— Нет, — говорит толмач.

Я повторяю вопрос.

— Нет, — вновь говорит толмач, — но мы хотим знать, почему его не сожгли. Если ты не возражаешь против такого вопроса, конечно.

— Потому что я присмотрел за ним, — отвечаю я, снимаю со стены за спиной у одного из солдат фотографию Роозы и Луукаса и кладу ее на стол перед офицером, показываю пальцем на стариков и произношу их имена. Он без интереса скользит по ним взглядом.

— Они переехали сюда из Раатеваара тридцать лет назад, — говорю я. — Луукас разжился, он сапожник и мастер на все руки и сам построил этот дом. У них трое сыновей, все сейчас на фронте…

Но толмач молчит, не переводит, устал, видно, да и офицер никакого интереса не проявляет, только таращится на фотографию, как будто она ему что-то напоминает — во всем найдется что-то нечужое, но вдруг поднимает взгляд и упирает его в меня. Я тоже пристально на него смотрю. Он

протягивает кружку как будто за добавкой кофе. Наливая кофе, я спрашиваю, чего он не ест хлеб, который я нарезал. Но он будто не слышит. Пьет кофе и думает о том, что никогда не перестанет его тревожить. Он с шумом втягивает синими губами горячую жижу, и под это хлебание я словно бы перестаю существовать, превращаюсь в равнодушного прислужника, собачонку, которая, возможно, сгодится им для какой надобности или просто на потеху, если им это подойдет, меня это точно устроит. Так прошла моя первая встреча с русскими, и я не могу представить себе, чтобы она сложилась как-то иначе.

4

Русского офицера звали Олег Илюшин, он был полковник, командир 759-го пехотного полка 163-й дивизии, продвинувшейся за прошедшую неделю от границы до Суомуссалми, это всего-то километров сорок, не больше, неделя кошмаров, другими словами, и здесь в городе они должны ждать подкрепления, чтобы расчекрыжить страну надвое в этом узком перешейке, сломать ей хребет и двинуть потом на Ботнвикен.

Но размышлять над этими планами мне было некогда, меня впрягли в работу, в рабски отупляющую пахоту, тяжелую, беспросветную, день и ночь, еще и с риском для жизни, потому что финские войска вовсе не отступили, а обложили город со всех сторон, едва только в него втянулись русские, и теперь скрывались в заснеженных лесах и палили оттуда по всему, что только шелохнется, а нам надо было валить деревья, пилить их и рубить, и все это за укреплинией.

Поначалу нас было человек сорок, легко раненных или слишком изможденных для боевых частей солдат, не то рабочая команда, не то

инженерный взвод, многие даже без формы, и надзирали за нами квадратный лающий интендант, которого русские звали Шавкой, узнал я, и четыре младших офицера, державшие нас за арестантов, плюс переводчик, то и дело подходивший с вопросами, на которые нет ответа, — и от всех них разило бессмысленным, бездонным горем, что их война зашла в тупик, замерла всего через две недели, словно подстреленная на полном ходу машина.

Я обмолвился, что вроде бы видел переводчика раньше, и выяснилось, что несколько лет назад он работал писарем на лесопилке в Вуоккиниеми, а я заглядывал туда, чтобы выпросить обрезков. Он тогда учился в Ленинграде и работал только летом, причем и саму работу, и лесопилку он описывал с презрением, как барин, попавший в место, совершенно его не достойное. Но он мало походил и на простого вояку, который по приказу живет, гибнет, мерзнет, голодает и терпит поражение. Какое там! Он вел себя как человек в своем праве, явившийся сюда расквитаться со своими старыми долгами, вроде бы финн и нефинн, русский и нерусский, мне его никогда не понять.

Судя по всему, у полковника Илюшина тоже

были с ним проблемы, не зря между ними постоянно возникали трения, особенно относительно того, как толковать перехваченные финские донесения, на которые иной раз и меня просили взглянуть. В таких случаях они обращались со мной как с пленным и шпионом в одном лице, отвешивали вволю угроз и тумаков, но разбавляли их дружелюбными и заискивающими улыбками, это когда я рассказывал им, например, об окрестностях города, подступах к озеру, о хуторах, дорогах, расстояниях и особенностях здешней зимы, о чем они не имели ни малейшего представления. Хотя полковник и толмач сцеплялись и по этому поводу: бить меня или лаской брать, не будь толмач так нужен полковнику, он бы давно пристрелил его, у русских обнаружилась такая повадка — убивать доходяг, не пригодных уже работать и сражаться, расстрелы устраивали чуть не каждый день, я и раньше слышал об этом, но не верил, я ведь знал до войны нескольких русских, милые люди, но теперь я видел расстрелы своими глазами, пришлось поверить. Толмача звали Николаем, ему было под тридцать, у него были вьющиеся русые волосы и песочного цвета глаза, расставленные широко, как у вальдшнепа, а в том месте в сердце, где у полковника Илю-

шина жила тревога, с которой он никак не мог разделаться, у Николая находилось маленькое углубление, не заполненное ничем; однажды, наблюдая, как он смотрит на израненных, покалеченных минами мальчишек-солдатиков, я подумал, что у этого человека никогда не было друга и он о нем никогда не мечтал.

Первые сутки я не спал, в доме Роозы и Луукаса мне остаться не пришлось. Туда перебрался полковник, и с ним денщик и трое младших офицеров, а толмач Николай и трое других офицеров обосновались в отмытом и отдраенном доме бабки Пабшу.

Наблюдать за этим было тяжело, потому что они свинячили и не убирали за собой, гадили прямо в доме и спали на белых простынях в одежде, а в сгоревшем городе повсюду сажа: на одежде и на лицах, на полу, на земле, на танках, палатках и кошках — причем она не убывает, а смешивается со снежной крупкой и взвихривается, тает и снова смерзается, и ее становится все больше и больше, она забивается в нос и уши, в горло и легкие, нет города грязнее, чем сгоревший, такой город и есть только одно — грязь.

И все это под непрестанным обстрелом, так что через три дня полковник и переводчик сбежали

в построенный инженерной ротой бункер, его соорудили в цоколе разрушенной школы, но не успели покрыть крышей.

Я не очень понял, в чем тут смысл: у финнов нет ни авиации, ни тяжелой артиллерии, чтоб так от них прятаться, а вот холод в этом бункере жуткий, докрасна раскаленные печки сутками пускают драгоценное тепло по ветру.

Еще через день выяснилось, что Шавка и его офицеры потеряли к нам почти всякий интерес; они выдали нам ряд строжайших и несколько строгих предписаний и с тем пропали, отправились, видно, на новые подвиги, рассудив, что если б мы и вздумали сбежать, деваться нам все равно некуда. Короче, когда после обеда из-за боевых действий на юге и востоке города рубка леса была прекращена, как и надзор за нами, я взял и вернулся в дом Луукаса и Роозы, словно бы получив такой приказ.

До поздней ночи я топил печи, грел воду и отмывал дом после русских, да так и остался в нем, поднялся на второй этаж и улегся в кровать Маркку, Маркку, который в эти именно дни погиб на Карельском перешейке, о чем я не знал тогда. Лежа в его кровати, снова ставшей чистой, я думал о том, что отдать за родину жизнь в боях

на Тайпале, которые, по слухам, были раз в десять страшнее, чем здесь в Суомуссалми (других точек отсчета еще не было, мы дожили лишь до середины декабря), это, конечно, вклад, не сравнимый с моим, но зато я ответил себе на вопрос, который еще две недели назад не отважился бы даже и сформулировать, — я понял, что выдержу это. Не стань мне совершенно все равно, выживу я или погибну, я бы так, наверно, и захирел ни жив ни мертв, но раз я продержался эти первые дни тем, что просто работал и не спал, значит, я и дальше сдюжу, и это ощущалось мною как незнакомое прежде спокойствие.

На следующее утро я как ни в чем не бывало явился к Шавке, получил задание и принялся за работу. Ни он, ни остальные меня, видимо, не хватились. Когда и этот день, как ни странно, дотянулся до вечера, а потом перевалил в ночь, я снова вернулся в дом Луукаса и Роозы и снова принялся за уборку: сажа въелась во все, я выметал ее, скреб щеткой, отмывал, хотя пора было спать, но я уже понял, что недосып и грязь — это две стороны одной беды, называемой словом «опуститься». Проходивший мимо офицер заглянул в дверь, спросил — насколько я понял, — к чему вся эта возня, откуда такая чистоплотность в

разгар войны, и издевательски покачал головой, когда до него дошло, что я собрался здесь жить.

Еще через день так же отреагировал и Шавка: если я решил загнать себя, дело мое, его это, во всяком случае, не колышет. И с того дня я поселился там, где должен был.

Сама работа не стала от этого менее опасной. Ни у кого в бригаде не было навыка валить деревья, охрана, которую к нам иногда приставляли, состояла не из самых отборных бойцов: они оцепляли делянку леса, зарывались в снег и ждали, пока мы выкорчевывали деревья, взрывая динамитом, — моя идея, — а потом впрягали лошадей и тащили лесины в город, даже веток не обрубив, чтобы все шло быстрее, оно и шло — пока. Десять — двенадцать огромных кострищ постоянно полыхали в разных частях города, языки пламени и белый дым смешивались с небом, серым как шерсть. Но это не помогало русским согреться, холод проникал до костей, они мало спали, редко мылись, еда и водка были нормированы с первого дня вторжения…

Как-то утром я узнал от взбешенного Николая, что «враги» сумели перекрыть еще и дорогу к границе, ту дорогу, по которой должно было подойти долгожданное подкрепление, целая танковая

дивизия, которая теперь всего в нескольких километрах от города билась о перегородившие дорогу финские ежи, как оса об оконное стекло. Другими словами, мы теперь оказались в *полной* блокаде, а народу в Суомуссалми сейчас стало больше, чем жило раньше, на несколько тысяч человек.

Самолеты совершали к нам рейды с едой, топливом и боеприпасами, но посылки часто падали за нашей укреплинией, и подбирать их приходилось с риском для жизни. «Противника» мы не видели, «враг» день и ночь прятался где-то за сугробами, как сонм крохотных невидимок-привидений, и у меня каждый раз вызывало оторопь, когда человек или лошадь вдруг падали как подкошенные, как куль, а лишь время спустя прокатывался выстрел, точно глухо плескала рыба под метровой толщей льда; ежедневно мы теряли больше людей, чем Шавка был в состоянии рекрутировать. И когда большую группу бойцов перекинули на подмогу на Хулконниеми, где сложилась критическая ситуация, мы внезапно остались всемером, семеро человек, отвечающих за то, чтобы снабдить дровами весь город, прокопченный, нагой город под свинцовым заполярным небом.

Все шестеро были люди хорошие на свой лад, на свой особый странный лад, почти все знали, что такое лес и что такое холод, пусть и не имели привычки к морозу в тридцать пять градусов, и постепенно я заработал себе у них некоторый авторитет, потому что я ни разу не выказал ни страха, ни усталости, так что тем утром, когда мы обнаружили, что списаны со всех счетов и предоставлены сами себе, они сгрудились вокруг меня, готовые на меня молиться, словно я в их помороженных руках и сердцах был последней надеждой в этой войне, которую толмач уже пристрастился называть белым адом.

Среди нас был парнишка лет семнадцати, не старше, родом откуда-то с Онежского озера, ему наверняка и прежде доводилось держать в руках топор, он умел унять свой страх и, как правило, выполнял норму. Я заметил еще, что он ел сколько надо, для чего часто подворовывал у других, что погружался в сон при любой возможности и находил общий язык с лошадьми. Мы разговаривали жестами и постепенно так наловчились, что он мог переводить мои простые приказы. Звали его Михаил, он вырос, по словам толмача, в детском доме, сроду не уважал ни закон, ни военную машину, которая по какой-то причине

вцепилась в него будто клещами, и это он первый назвал меня «ангелом». Потом меня величали и «надеждой», и «последней надеждой», и даже «мужеством» и «свободой»; это были первые русские слова, которым война научила меня, в дополнение к нескольким, известным мне и прежде; кое-кто считает русских говенным народом, но я так никогда не думал, хотя в русских много странного, и всегда было.

Утром на третий день нашей безнадзорной жизни я обнаружил, что офицеры стали больше понимать про меня и особенно про то, чего не хватает им самим. Я успел поспать часа два, не больше, как ко мне, в дом Луукаса и Роозы, явился Николай, растолкал меня и сообщил своим резким лающим голосом, что рубщики отказываются выходить на работу и плюют на все его угрозы, поэтому я должен сию же секунду явиться к Илюшину.

Войдя, он сразу сел на пол, чтобы его не подстрелили в заиндевевшее окно, и так и говорил со мной, а когда я встал без тени боязни и начал одеваться, он поежился. На кухне ждали, тоже сжавшись в три погибели на полу, двое рядовых. Они скользнули в дверь, как черви в серый снег. Всю дорогу до бункера они, и Николай тоже, дви-

гались короткими перебежками, хоронясь то за одной стеной, то за другой, а я шел посередине дороги, я, между прочим, здесь жил и сроду иначе не ходил, трудяга, добирающийся до работы в такие дни, когда у него по воле Божьей звенит в обоих ушах, и в этом не было героизма или задней мысли, объяснить я этого не могу, просто я понял, что здесь можно выжить только одним-единственным способом — моим.

Илюшина я не видел почти неделю. Его прежде белое лицо пошло красными пятнами, как бывает, если человек мечется между морозом и жарко натопленным помещением, Илюшин еще похудел и показался мне более рассеянным и суетливым, чем прежде, было видно, с какой неохотой он отвлекается от текучки дел ради нашей беседы.

Он — через Николая — велел мне вывести рубщиков на работу и оставаться в лесу до тех пор, пока мы не наготовим дров для двух полных батальонов на три дня, потому что он ожидает массированного наступления, и когда оно начнется, никто — даже мы — не продержится живыми за линией рубежей больше двух минут. Закончил он словами, что если я не выполню задания, он будет уничтожать уцелевшие дома и

расстреливать рубщиков, одного за одним.

— Тебе ведь они нравятся, да?

Я взглянул в его выразительные глаза с притворным непониманием и сказал, что зря он мне угрожает.

Он не ответил.

Прежде чем мы с толмачом спустились в бункер к Михаилу, признанному остальными за вожака, о чем Николай прекрасно знал, он повторил, что я должен в лепешку расшибиться, но выгнать рубщиков на работу — дать им слово, что все будет спокойно, что нас обязательно будет прикрывать большой отряд, потому что дрова нужны уже позарез.

Войдя к рубщикам, я повторил слова Николая, якобы мне все это сказали наверху, Николай вроде как переводил. Но речь не произвела на павшую духом компанию никакого впечатления, они не шелохнулись в ответ, только Михаил буркнул, что лучше уж сдохнуть в городе, чем в лесу — этом снежном аду.

Мы с Николаем продолжали представление. Я попросил их подняться на ноги и слушать стоя, объяснил, что лучше работать, чем пухнуть в этом склепе, сказал, что их будут кормить, и пообещал лично заботиться о них и оберегать…

Не сразу, но они встали, сперва Михаил, потом неврастеник, бывший в гражданской жизни учителем начальных классов в школе неподалеку от озера Ильмень, он три дня назад начал плакать, да так с тех пор и не переставал. За то время, что мы были знакомы, я не слышал от него ни одного слова, ему было лет сорок, и он походил на какое-то насекомое, хотя Николай уверял, что этот нытик был вполне сносным солдатом, пока не разбил свои очки, из-за чего он, считай, ослеп, звали его Суслов.

Пулеметная очередь прошила брезентовую обшивку сторожевой вышки и ударила в деревянные столбы, мы бросились на землю под брань Николая, матерившегося по-русски и по-фински вперемежку.

— Откуда в них такая прыть? — пробурчал он, вставая на ноги и стряхивая с шинели снег и стружку.

— Они высыпаются.

— И всего-то? — Он смотрел на меня с презрением.

— Это не так просто. Для этого требуется железная дисциплина.

Я знал, что зарвался. Но еще я знал, что мы уже миновали ту стадию, когда ему бы доставило

удовольствие пристрелить меня. Мы взглянули друг на друга как два заговорщика, действующих на чужой территории, и на миг это так успокоило нас, что я решился и сказал:

— Мне кажется, тебе надо назначить Михаила командиром сегодняшнего взвода охраны. И выдать ему оружие.

— Это зачем?

— Чтоб он мог держать их в узде. И рубщиков, и охрану.

— Этого я не могу, сам знаешь.

— Но ты можешь попросить об этом Илюшина. Сегодня нас ждет непростой день.

— Да он еще пацан.

— Он взрослее и надежнее их всех.

Толмач долго смотрел на меня, вытащил кисет, закурил, а рубщики тем временем вопросительно переглядывались, ожидая, с кого начнут.

— Садитесь, — сказал я и повел руками вниз, как пастор.

Они покосились на толмача, ничего не заметившего, и сели, уткнувшись головой в колени, в этой позе они проводили все время между сном и бодрствованием. Но Михаил продолжал стоять, впившись взглядом в Николаеву сигарету, он был похож на молодую куницу, насторожившуюся

на норку, и если б не круглая физиономия, до нелепости дружелюбная и сияющая, которая так не вязалась с его худым и ладным телом, он был бы красавец-мужчина.

— Я попробую, — вдруг буркнул Николай, сунул окурок Михаилу и исчез.

Через полчаса он вернулся вместе с командиром пехотинцев и сказал, что Михаила нельзя поставить начальником, потому что он дикарь, ненадежный и непредсказуемый.

— Понял, — сказал я.

Командира пехотинцев звали Федором, он был сержант, лет двадцати, не старше. Его отряжали с нами и прежде, и мы знали, что безопасность собственных солдат волнует его гораздо больше, чем наша. Вдобавок он имел дурацкую привычку подгонять и понукать рубщиков, когда они вовсю вкалывают: быстрее, быстрее, и этими бессмысленными воплями он заставлял нас подвергать себя опасности, а сам со своим отрядом преспокойненько отлеживался в сугробах.

— Скажи ему, — я кивнул на Федора, — что я считаю его трусом и не доверяю ему.

Николай вытаращил глаза.

— Ты это серьезно?

— Да, — сказал я.

— Нет, я понимаю, что ты так считаешь, но если я ему это скажу, вам станет с ним еще труднее.

— Скажи так, чтобы он знал, что и ты знаешь, что он трус.

Николай подумал-подумал и ничего не сказал.

— Выходи строиться! — видимо, крикнул он рубщикам.

И пока они поднимались, я услышал, как он все-таки прошипел что-то Федору. Тот вспыхнул, но в мою сторону не взглянул, и я понял, что Николай не выдал имен недовольных. И пока мы шли к лошадям, чтобы запрячь их, я вдруг подумал, что, возможно, в лице этого взбалмошного толмача я заполучил себе друга, ведь он уже второй раз показывает, что готов втихую действовать со мною заодно, это сулило каждому из нас выгоду, возможно, сулило, ибо этого человека трудно было раскусить.

Работа, как всегда, напоминала военную операцию: солдаты Федора делились на два отряда, потом бегом, пригнувшись, рассредоточивались по лесу, падали в снег и занимали позиции вокруг выбранной делянки, под их прикрытием на этот островок врывались мы, трое принимались привязывать к деревьям динамит, а трое других наматывали поверх него примитивные фашины,

направляя удар нужным образом — чтобы дерево упало комлем к городу.

За один присест мы валили пятнадцать — двадцать деревьев. Мы всегда выжидали, чтобы Федор дал нам отмашку, чем он обыкновенно пренебрегал. Но не сегодня. Едва первый подотряд бухался в снег, как Федор рыкал на нас, чтоб мы заводили лошадей, это было самой опасной частью всей процедуры, поскольку невозможно вести под уздцы огромных, насмерть перепуганных животных, а самим двигаться ползком. Правда, загнав лошадей на место, мы могли прятаться за ними. Лошадей косило нещадно, потому что отряд дровосеков давно уже превратился — наряду с полевыми кухнями — в излюбленную мишень финнов, гораздо более привлекательную, если судить по силе огня, чем собственно укрепления. Да я и сам поступил бы так же: не давать врагам дров, они и вымерзнут. Любой идиот прибег бы к такой нехитрой стратегии, мороз в этот день был за сорок, и продолжало холодать.

Меня с самого начала безумно злило, что нас заставляют работать при свете дня, хотя почти круглые сутки темно. Ни Шавка, ни Илюшин не желали слушать возражений, да они были и бессмысленны, потому что выгнать рубщиков на

улицу в потемках было еще труднее.

Но я из кожи лез, чтобы днем мы работали как можно меньше: придумывал разные отговорки, ломал то, что нельзя было починить на месте, а только в городе, из-за этого постоянно вспыхивали скандалы с Федором.

В это утро мы в первый же заход потеряли двух лошадей, Суслов выбыл из строя, одного из пехотинцев ранили в гортань. Сержант отправился с ним в лазарет, и я тут же в небольшой ложбинке сложил костер из пяти-шести деревьев с еще не обрубленными ветками, так что самые изможденные смогли погреться и поспать на еловых лапах, пока мы с Михаилом делали вид, что работаем. До возвращения Федора мы с места не двигались, а появился он уже ближе к вечеру, когда стемнело.

Мы покончили с костром, попросту взорвав его, к дикой ярости Федора, которую он и не старался скрыть. Но, вспомнив предостережение толмача, он вынужден был отдать своим людям приказ оцепить для нас новую делянку.

Под редкие разрывы снарядов где-то вдалеке мы безо всяких проблем проделали весь трюк еще раз, следом еще, наступила уже глухая ночь, и Федор сказал: хватит, не то он сейчас окоченеет.

Мы постарались ничем не выдать своего облегчения: пусть ни у него, ни, если что, у его командиров не будет оснований сомневаться в том, кто свернул эти столь важные работы; мы разыгрывали подобную сценку каждый день; не считая мелкого вредительства, она была первое, что мы здесь взяли на вооружение.

Мы вернулись в город, к бревнам, сваленным горой наподобие гигантского, покрытого льдом муравейника. Федор окинул его взглядом, кивнул: и вправду довольно для этого чертова дня, и строем повел своих солдат в бункер: получить новые приказы или смотаться, откуда мне знать, может, даже поспать; пока мы будем колоть дрова под присмотром двоих прихвостней Шавки, они грелись у костра, глушили водку и издевались над нами; особенно доставалось Суслову, полуслепому учителю, он, кстати, сегодня гораздо дольше продержался на ногах, поскольку днем отоспался.

5

Так прошла неделя. Лесорубов изводили потрескавшиеся раны на обморожениях и жестокий голод; они все больше походили на живых мертвецов, среди завалов из смерзшихся заиндевелых веток, сучьев и оструганных бревен, падая, плача и теряя сознание, копошились ссохшиеся дребезжащие стручки, обтянутые человеческой кожей. Сперва я старался помочь бедолагам, но терпение быстро лопнуло, меня одолевали гнев и раздражение, наконец, я наловчился не видеть и не слышать их. Однако однажды ночью мы остались без присмотра, и я тут же, наплевав на Федора и Шавку, привел лесорубов в дом Луукаса и Роозы, обработал самые страшные раны, уложил всех на голые кровати, и рубщики уснули, не успев ни раздеться, ни дождаться еды, а мы с Михаилом сидели по углам печки и вслушивались в тишину, пока кухня медленно, но верно согревалась.

— Кофе? — спросил я.

Он кивнул, и я дал ему самому похлопотать и сварить кофе, у Михаила дрожали руки и дергалось лицо — как будто кран с водой, кофейник,

печь, дрова, огонь, кофе, чашки были чем-то, что человек может получить только на небесах. Мы ели, пили, изредка обменивались жестами и всё понимали, нам не нужно было слов, на вопрос, синим пламенем горевший между этим странным пареньком и мной, на вопрос: что это все такое? — у меня все равно не было ответа. Где-то во мгле полярной ночи тарахтел самолетик, надежда русских, где-то стрелял гранатомет, видимо, финнам удалось выдвинуть вперед свою артиллерию. До всего этого нам не было никакого дела. Мы сидели сытые у раскаленной печки и улыбались друг дружке поверх пара над чашками с кофе.

Проснулись лесорубы, я кормил их тем, что было, затирухой из муки с крупой, вареньем, салом, остатками хлеба, и смотрел, как они пихают в себя еду, боясь, что она исчезнет, превратится в ничто прямо в их покореженных пальцах. Они жевали всем телом, медленно и тщательно, иногда бросая быстрые взгляды на остальных, словно впервые обнаружив, в какую компанию угодили, и кивали задумчиво, словно спросонья, в знак того, что узнали остальных, или это было вроде как безмолвное спасибо судьбе, и так медленно, так медленно насыщались они и кивали своими

вшивыми головами… И когда я все же прервал эту кормежку, они взглянули на меня как-то по-собачьи и послушно разбрелись по кроватям, спать дальше, опешив, что их не гонят на улицу, за окном ведь развиднелось, да?

Но я собрался подержать их сегодня в тепле.

Днем мы с Михаилом выбрались из дома, от Илюшина мы прятались, но остальным нарочно мозолили глаза, пристроившись рубить дрова для полевой кухни, которой командовал Шавка. Ему было не до нас: готовился новый прорыв, народ метался туда-сюда, хаос, шум — и копоть. Мы убрались восвояси, едва стемнело.

А дома Михаил бухнулся на колени и стал меня благодарить, потом снова залез в теплую кровать Роозы и провалился в беспамятство; он занял половину супружеской кровати, рядом спал Суслов. Глядя на храпящего учителя, я вдруг вспомнил, что несколько лет назад после болезни у Роозы начались проблемы с глазами. Я принялся обшаривать дом, залез в те комоды и шкафчики, куда прежде не совался, и нашел в гостиной то, что искал: расшитый очешник, а в нем очки с такими сильными стеклами, что, надев их, я чуть сознание не потерял.

Я вернулся с ними к Суслову, разбудил его. Не

сразу, но он открыл глаза, и я попросил его надеть очки. Он подчинился, захлопал глазами, улыбнулся и снова уснул, прямо в очках. Я осторожно снял их с него и положил на ночной столик сбоку от очешника.

Такие дни выпадали нам нечасто. Но были и другие чудеса. После упомянутого прорыва времянку рубщиков эвакуировали, ночь они проспали на улице, а когда наутро я предложил Шавке отправить их в дом Луукаса и Роозы, он лишь повернул ко мне свое квадратное лицо, посмотрел и ответил как и в прошлый раз: если мы хотим погибнуть, то он здесь ни при чем. И с той поры мы завели правило при всяком удобном случае оставлять плаксу-учителя и другого слабака, Родиона, спать дома, пока мы уходим на работы.

Ровесник Суслова, Родион работал механиком на бойне и был, пока не дошел до нынешней хилости, гораздо крепче учителя. Его в начале кампании забрил в Красную Армию лично Илюшин, вдруг обнаруживший посреди толпы снующих на перроне в Лиетмаярви солдат и грохочущих машин человека в штатском, оторопело взирающего на это светопреставление на Богом забытом полустанке. Не подозревавший о том,

что эпицентр истории сместился на их станцию, Родион зашел туда забрать посылку с туфлями для жены, и ему не дали ни сходить домой проститься, ни хоть формы, так что он работал, голодал и спал в том, в чем вышел из дому двадцать третьего ноября, но женины туфли он всегда, и днем, и ночью, хранил за пазухой тонкого пальтеца, как последнюю память о своей прежней жизни, упакованную в замурзанную розовую бумагу, заляпанную копотью, как и все вокруг, за исключением этих туфелек алого цвета.

Среди нас были два родных брата, редкое для фронта дело, киевляне Лев и Надар тридцати с небольшим лет, которые между собой говорили на нерусском языке, не понятном никому из нас. Лев прежде работал вахтером на заводе швейных машин, а Надар выращивал капусту в колхозе, оба хромали на правую ногу и были негодны к строевой службе.

Еще нам достался невысокого росточка крепенький мужичок из Калевалы в русской Карелии, крестьянин средних лет, немного понимавший по-фински. Его призвали из запаса, и он был самым выносливым из всех. Родион-с-туфлями, Михаил-куница и этот крестьянин — его звали Антонов — были привычные к холодам,

а вот братья и учитель нисколько, хотя ходили слухи, что Суслов в молодости несколько лет жил на Ладоге, но без толку, более несуразного солдата не было во всей дивизии, да и вообще на той войне, потому что менее военного человека я никогда не встречал.

После трех ночевок в доме мне удалось сподвигнуть рубщиков снять все с себя, потравить парафином вшей, вымыться и переодеться в чистое, в одежду Луукаса и его сыновей. Еще они за эти дни поели и отоспались, все, кроме разве что Михаила, спавшего не больше моего, но ему вроде бы хватало.

Однако перемены к лучшему странно подействовали на рубщиков, сон и еда вернули им не только надежду и силы, но еще и смятение, владевшее ими, пока они не отчаялись. На четвертое утро они вдруг отказались выходить на работу, мне пришлось выгонять их из дома угрозами и грубой силой, точно как Шавке с его сержантами. А вечером уже и речи не было о том, чтобы ночевать в доме, стоящем — как он все время и стоял — на линии огня. И вдобавок — когда я все же затолкал их в дом, — они принялись собачиться из-за еды, которой осталось мало, а Суслову вдруг перестали подходить очки Роозы.

Я сказал, что если он попробует снять очки сейчас вечером или завтра, то я отправлю его назад в окопы к Шавке. Антонов с ухмылкой и удовольствием пересказал мои слова Суслову, он нехотя нацепил очки на нос, проносил еще день, а потом вдруг пришел и стал благодарить на коленях, — к нему вернулось не только зрение, но и силы. А вечером того же дня Михаил сцепился с братьями. Я не видел выхода, пришлось пойти к Николаю и попросить дать мне оружие.

Толмач вместе с еще тремя офицерами гонял в одной из палаток чаи у самовара; увидев меня, он вскочил и решительно увлек меня в сторону, как сообщника. От него разило перегаром. Лукаво ухмыляясь, он спросил, скольких я потерял за последние дни.

— Никого, — ответил я. — А Федор двоих.

Я так и не мог понять, чего он ухмыляется.

— А мы потеряли сотню с лишним только на переходе до Юнтусранта…

Ответить мне на это было нечего, на его лице появилось новое выражение, но оно было столь же недоступно моему пониманию, как недавняя ухмылка.

— Говорят, ты снюхался с финнами? — заявил он внезапно и, шатаясь, отошел на пару шагов

в сторону.

Мы стояли у дома бабки Пабшу. Вдоль стены тянулась низкая поленница. Я предложил ему присесть. Он стал отказываться.

— Зябко, — произнес он отрешенно и безучастно, трясясь от холода, но все-таки сел на заснеженные поленья и, видимо, даже собрался с мыслями, прежде чем повторил свое обвинение.

— О чем ты? Не понимаю, — ответил я.

— Ты поддерживаешь контакт с финскими войсками?

Я изобразил недоумение.

— Нет.

— А тогда почему твоих людей не убивают?

— По-твоему, я сговорился с финнами, чтобы они не стреляли в рубщиков?

Он вскинулся, в бешенстве и разочаровании, и тут я понял, что он рассчитывал пугать меня этой тайной, чтобы получить надо мной власть. Но для чего? Спрашивать я не стал. Николай же, клацая зубами, принялся рассказывать о своей жизни в Ленинграде, о двоих сыновьях-дошкольниках и об отце, до революции имевшем и капитал, и доходную прядильню, но потерявшем из-за большевиков все подчистую, так что Николаю с братьями не досталось в наследство ничего,

кроме предвзятого отношения новой власти; это была исповедь озлобленного человека.

Выслушав, я в ответ рассказал, что родни у меня нет, но есть хутор…

— Там у меня есть все, что мне нужно.

— Надеешься снова его увидеть? — желчно перебил меня Николай и встал, качаясь и размахивая указательным пальцем, который то и дело вяло опускался. — *Надеешься снова его увидеть!*

А потом его вдруг снова как подменили, он сник и совсем раскис.

— Я ведь добровольно! — рыдал он. — Никто меня не принуждал, я сам это выбрал, а мог бы читать лекции в Ленинграде!

Он обтер рот и посмотрел на меня маслеными глазами, перед которыми проплывали, видимо, картины теплых университетских аудиторий.

— Тебе никогда не страшно? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Так не бывает.

Он рассматривал свои ладони, потом безвольно опустил руки по швам. Несколько минут мы стояли, не шевелясь, слушая войну, — неумолчные разрывы гранат, шум невидимых самолетов и врага, тоже невидимого. Меня подмывало спросить о судьбе танкового батальона, который

должен был пробиться к городу, но я сдержался.

— Лед толстый, — вдруг выпалил он, — мы проложим дорогу на север по озеру, он выдержит и грузовики, и бронетехнику.

Он сделал паузу.

— Это хотя бы путь к отступлению, — вырвалось у него внезапно от чистого сердца. Думаю, его расстреляли бы за такой крик души, сболтни он такое не мне, а кому-то еще.

Я взялся объяснять, что местные жители всегда прокладывали дорогу через Киантаярви по льду и финские командиры знают об этом, так что русские не могут придумать ничего глупее, чем двинуться по открытой белой равнине, их не расстреляют, их в труху изрешетят огнем со всех сторон.

Он посмотрел на меня потухшим взглядом и кивнул.

— А чего я с тобой разговариваю? Потому что у тебя не все дома, да?

— Наверно, — ответил я, надеясь, что он не спросит, зачем я приходил, тем более что проблемы с рубщиками выглядели сейчас смехотворными — я нажарил им свинину на ужин, они ели руками, настоящие поросята, хотя я положил каждому прибор, и вытирали руки о чистую

одежду, особенно изгваздался Родион-с-туфлями, так что я взял его руку и стукнул ею о край стола, и все загоготали, кроме Антонова, заголосившего на своем непостижимом финском, что не мое собачье дело, как они едят. Я спокойно ответил ему, что если они не будут блюсти себя в чистоте, то погибнут от холода. Это их совсем развеселило. И только когда я силой заставил Родиона взять нож и вилку, пригрозив, что убью, если будет артачиться, его примеру последовали остальные — сперва Михаил, потом учитель, затем Антонов… обычным чередом, в этом и состояло превосходство Михаила: он первым чуял, куда ветер дует, а братья-киевляне всегда сдавались последними, они вообще ничего не понимали, для меня оставалось загадкой, как они дожили до сих пор, но я тогда вообще еще мало соображал.

А в ту минуту меня больше всего беспокоили слова Николая о дороге по льду, вот ведь угораздило его сказать мне, чего никак нельзя было, — вспомнит ли он об этом, когда протрезвеет, и что он сделает со мной, чтобы я не смог донести на него?

Я взглянул на него и спокойно сказал, что он может рассчитывать на меня, что бы ни случилось, что сейчас я провожу его назад в палатку, потом

попросил его достать нам немного еды… мы не ели со вчерашнего дня. Так я продолжал болтать и клянчить, пока все не переросло в новую свару, теперь насчет еды, и я ушел от него, убежденный, что дорога забыта, и унося под мышкой всего один батон, остальные он в последнюю секунду передумал отдавать, пожадничал: и так обойдешься, морда финская, от голода не помрешь.

6

Когда я вернулся, рубщики спали. Несколько дней назад мы подобрали кота, он тоже дрых, устроившись на моем стуле у печки. Но тут проснулся, спрыгнул на пол, подождал, пока я усядусь, и забрался мне на колени, он был серый и бесхвостый — то ли отрубили ему, то ли взрывом оторвало. Я сроду не был кошатником, но этот приспособился и к нам, и к войне, и смотреть, как он лежит, свернувшись калачиком, и вылизывает шерстку или подбирает языком капли молока, которые мы ему давали, было все равно что увидеть мир таким, каким он был прежде; вот и рубщики обращались с котом с куда большей нежностью, чем с лошадьми, крупными, громко ржущими, делавшими убогость нашего прозябания еще непригляднее, еще больше, — в лошади столько сил, мощи, кровищи, и все это идет прахом и хлещет из убитой животины наружу, я обожаю лошадей, я и помыслить не мог…

Очнулся я от жуткого грохота. Отшвырнул кота, так пригревшегося у меня на коленях, вскочил, выбежал на улицу и обнаружил в нескольких

шагах от дома огромную воронку; стены посекло осколками, но, удивительное дело, окна уцелели. Я кинулся было назад в дом, но меня оттеснили солдаты. Двое схватили меня за руки, а остальные с ором и топотом ворвались в дом, они вытаскивали сонных рубщиков из постелей и выпихивали их на мороз — жуткое зрелище: шесть полуодетых мужиков стоят, задрав кверху руки, в кольце солдат, лежащих или сидящих на снегу из страха быть подстреленными невидимым врагом из непроглядной темноты.

Офицера, командовавшего операцией, я видел и раньше, он жил вместе с Николаем в доме бабки Пабшу. Он тоже распластался на снегу. Ну а мы должны были стоять и ждать, пока дюжина солдатиков переворошит весь дом в поисках, видимо, шпионского инвентаря.

Что они могли найти? Наконец офицер прорычал что-то, и рубщики развернулись, вытянулись в подобие вереницы, и их, по-прежнему с поднятыми руками, погнали к штабу Илюшина; я пошел следом.

Там нас ждал толмач.

Какой-нибудь час назад я оставил его в самом плачевном состоянии, теперь он был бодр и собран, почти весел. Сперва он отчитал офицера,

тот сделал донесение, принятое тоже с недовольством. Николай сквозь зубы отдал новый приказ, встреченный рубщиками с облегчением, — им разрешили вернуться назад, нужен был только я.

Я вмешался и попросил сказать им пару слов, пока они не ушли.

— Что еще? — хмуро буркнул Николай.

Обратившись к Антонову, я велел им навести в доме полнейший порядок: или все будет выглядеть ровно как до учиненного солдатами кавардака, или они меня больше не увидят, даю слово.

Он выслушал меня, кивнул и был таков.

— Это что за спектакль такой? — спросил Николай, когда мы вошли в палатку.

Я не ответил. Он велел мне сесть на стул. Я сел. Давешний офицер связал меня по рукам и ногам. Почти сразу пришел Илюшин, мельком взглянул на меня, отдал приказ по-русски и вновь исчез. Офицер стал бить меня по лицу кулаками и оружейным прикладом. Николай закурил, давая офицеру время.

— Больно небось? — спросил он.

— Да, — ответил я. — Но я сильный.

Он засмеялся, хрюкнув с издевкой.

— Мне попросить его продолжить?

— Зачем?

— Чтобы заставить тебя говорить.

— Меня достаточно спросить. Я отвечу.

— Почему подпаленный дом, где ты живешь, остался цел? Как ты это объяснишь? — завопил он, как ненормальный, точно как тогда у поленницы.

— Никак, я не знаю, — ответил я. — Но есть и другие дома, которые как стояли целые к вашему приходу, так и стоят.

— Они сожгли весь город! — заорал он в ответ. — А несколько домов, понимаешь ли, оставили, хотя могли разнести их в щепки. Ты это пытаешься мне втрюхать?

— Вероятно, они думают, что дома пусты, — сказал я и вспомнил финского солдата, у которого не поднялась рука сжечь дом бабки Пабшу.

— А как бы они узнали, что дома пусты, — сказал Николай с торжеством, — если бы никто им об этом не рассказал?

Я попробовал улыбнуться, но рот был полон крови, а левая половина лица застыла, как на морозе.

— Дома слишком на виду, — сказал я, — в них никто не решится въехать, даже…

— Так что, мы можем спокойно перебираться в них? — спросил он с прежним вызовом. Но мне было уже слишком трудно говорить.

— Дым из труб, — сумел процедить я.

— Больно? — спросил он.

— Нет.

Во рту что-то пузырилось. Он дал офицеру знак, тот снова кинулся на меня. Я отключился, а придя в себя, увидел еще двоих офицеров. Сделал усилие и выпрямился. Николай стоял ко мне спиной и чему-то смеялся. Один из новых сообщил ему, что я очнулся, Николай повернулся и сказал что-то по-русски.

— Я рассказываю им, что тебе не больно, — усмехнулся он. — Они говорят, что это интересная мысль.

Кто-то осторожно засмеялся.

— Дым из труб, — прошептал я, с трудом различая толмача сквозь красную пелену. Хотя голос его звучал отчетливо.

— Они догадываются, что в домах никто не живет, потому что нет дыма из труб?

Я кивнул.

— Но одна труба дымит, — снова сорвался он на крик. — Твоя! И они знают, что в городе остался один финн, местный придурок. Сложив два и

два, они решили, что это ты топишь, потому что никто больше на такую глупость не способен.

Я попытался улыбнуться. Не получилось, но Николай заметил мой порыв.

— Они вообще-то знают, что ты здесь? — снова завопил он и хлопнул по ручкам стула.

— Знают, — ответил я. — Они позволили мне остаться.

— Почему?

— Я отказался уезжать.

Он отступился, но выматерился, очень недовольный полученным объяснением, в которое трудно было не поверить даже ему.

Когда я снова очнулся, на месте был только избивавший меня офицер, он сидел на стуле рядом со мной и курил. Заметив, что я открыл глаза, он встал и пошел за Николаем, тот пришел, взглянул на меня с презрением, бросил что-то офицеру, тот развязал веревки на запястьях и лодыжках. Я сполз на пол, но сумел встать на колени.

— Знаешь, что делает тебя совершенно неопасным? — спросил Николай с лицом, искаженным злорадством. — Из-за чего я могу отпустить тебя?

— Нет.

— Ты можешь разговаривать только со мной!

Я кивнул: мол, понял, хотя смысл дошел до меня

не сразу, его слова были, видно, как-то связаны с тем, что он наболтал мне лишнего о линии укрепления к востоку от города и о дороге через озеро как возможном пути отступления и что я не смогу его выдать. Но почему он не покончил со мной раз и навсегда, почему не позаботился о том, чтобы я и по-фински больше не разговаривал? Потому что у него был в запасе свой собственный, личный план, не имевший отношения к той безумной войне, частью которой он был, и для этого плана я мог ему пригодиться.

— Пусть этот финский придурок проваливает, пусть идет к себе и топит сколько влезет, и посмотрим, кто…

Он не закончил фразу.

Я выбрался наружу, промокнул снегом лицо, идти я не мог, и дорога домой тянулась так долго, что, пока добирался, я сбил и руки и колени. Рубщики ждали меня, не ложились. Михаил и Суслов, когда я ввалился через порог, распластались рядом со мной на коленях и заплакали. Антонов помог мне перебраться на стул у печки. Братья взялись обрабатывать раны умелыми, бережными руками. Родион-с-туфлями сказал что-то, Антонов смутился и отказался переводить это — видно, что-то слишком уж трогательное.

— Мы думали, ты не вернешься, — сказал этот квадратный крестьянин, когда братья привели меня в порядок. — Но вот ты здесь, а мы убрались в доме.

Он раскинул руки, показывая вымытую кухню. Я кивнул в знак того, что заметил и доволен ими.

— Что ты им сказал? — спросил он.

— Правду, — ответил я по-русски.

Он задумался, потом улыбнулся.

Часы, втиснутые между семейными фото, показывали, что рассветет всего через несколько часов, я велел Антонову разбудить меня до зари и сказал, что теперь нам придется работать насмерть, это наш единственный шанс. Было видно, как ему хочется спросить — почему, но я упредил его, напустив на себя такой вид, будто это тайна, про которую ему лучше не знать.

Он перевел мои слова остальным и уставился на меня, озадаченный еще одним вопросом.

— Почему они тебя не убили? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

И тут же уснул.

7

Я сумел продержаться почти весь день, несмотря на тошноту, боль в развороченных челюстях и на то, что я практически не видел, потому что лицо опухло и заплыло.

Но рубщики вкалывали, как никогда раньше. Суслов ходил в очках и не падал и не спотыкался, Антонов с Михаилом работали в паре, точно отец с сыном, Родион оставил туфли дома и махал топором, как молодой, а братья говорили только по-русски, все вели себя наконец-то как слаженная команда, один я был ни на что не годен.

Нам дали новый взвод охраны, их командир сквозь пальцы смотрел на то, что я несколько часов провалялся у костра, он даже угостил меня сигаретой, которую я отдал Михаилу, едва взводный отвернулся.

Когда стемнело, солдаты, не сказав ни слова, ушли, и Михаил тут же свинтил — добывать пропитание. Он малый везучий — вернулся с двумя буханками хлеба, этим можно было накормить максимум четверых, но у нас оставалось свиное сало, которое мы топили в сковороде, охлаждали

в снегу и мазали на хлеб, как масло. Как ни странно, солдаты при обыске не нашли ни варенья, ни кофе, и я думаю, мы были единственными людьми в Суомуссалми, которые под Рождество 1939 года пили здесь горячий кофе в теплом доме — рубщики, как обычно, благодарили за то, что опять сегодня не погибли, и, как обычно, благодарили они меня, единственного не годного ни на что, Родион заявил даже, что впервые с тех пор, как покинул Ледм-озеро, он не чувствовал холода — сегодня.

— Приспосабливаешься, — сказал я.

Антонов с издевкой сообщил, что это он Родиону уже сказал.

— Будем надеяться, он запомнит, чему научился.

Но когда мы возвращались из леса, я заметил, что дым курился из труб нескольких уцелевших домов: бабки Пабшу и трех ближайших к нашему. Разгоряченным рубщикам я не сказал ничего. Наш офицер предупредил, что нас снова выведут на работу вечером, готовилось новое наступление. Но шли часы, мы сидели, мы лежали, мы спали — ничего не происходило. В полночь Антонов растолкал меня и шепотом спросил, что будем делать, если никто за нами не придет.

Посреди всей этой тишины?

Я уже мог видеть, отек на лице спал, только болел нос, разбитый всмятку, и кружилась голова. Однако я поднялся, вышел в ясную звездную ночь и увидел, что трубы четырех домов по-прежнему курятся, но дым над ними не стоит четко очерченным столбиком — признак того, что печка топится сухой елью, как наша, — но слоится, тяжелый и бурый из-за сырых дров. Я вернулся в дом, разбудил Михаила и велел Антонову попросить его проверить эти четыре дома, есть ли там кто. Он не понял, какой в этом смысл, но пошел и возвратился через час — с буханкой хлеба и сообщением, что в домах пусто, но он видел, как двое солдат зашли внутрь одного и тут же вышли, а из трубы потом сильно пыхнуло дымом; кстати, в городе как-то странно тихо, все куда-то подевались.

Антонов нахмурился, посмотрел на меня угрюмо и спросил, не пора ли будить остальных, чтобы быть наготове, но я сказал, что, пока за нами не придут, мы будем оставаться на месте. Моим рукам и глазам нужна хотя бы еще одна, по крайней мере — одна, ночь. Антонов с Михаилом промолчали, но я видел, что мои слова успокоили их, хотя тишина нарастала с каждым

часом — мы две недели жили посреди урагана, а теперь вдруг услышали стужу в лесу и увидели звезды на небе.

Наступило серое утро, но ни Федор, ни Шавка, ни новый офицер не объявились. Зато вновь ожила война. Более того, она приблизилась. Но я все равно решил, что мы останемся в доме, и рубщики пошли дальше спать, ни словом не возразив, а я уселся на стул у печки и просидел там весь день с нашим бесхвостым калекой-котом на коленях, прислушиваясь к тому, что подступало ближе и ближе, кот тоже спал, я решил назвать его Микки.

Потом стемнело, а за нами никто не пришел.

Я сварил кофе и пошел будить остальных, Михаил проснулся с таким видом, словно впереди его ждал летний день в родной деревне на Онежском озере, братья оторвались от сладких киевских снов, Антонов сложил на груди руки и жмурился блаженно, даже учитель был настроен мирно. И впервые с односложных реплик перешел на длинные тирады. Я похлопал его по плечу и протянул ему кофе, он выпрямил спину, отпил глоточек и снова заговорил как по писаному, как умеют учителя, длинными ровными фразами, и все время что-то спрашивал и смотрел мне в

глаза, как верному другу, поверенному во все сердечные тайны, к которому взывают с мольбой о терпении и милости.

Я попросил его сходить за остальными, мы собрались в кухне и устроили заседание штаба. Сомнений в том, кто тут главный, ни у кого не было, протесты, драки, разногласия — все развеялось. Я с ходу постановил, что мы и дальше будем сидеть в доме, топить и спать, подъедать остатки и в крайнем случае посылать на промысел Михаила. Рано или поздно что-нибудь произойдет, и это не выбьет меня из колеи, я сразу пойму, что нам делать, но это пока оставалось моей тайной, так я сохранял мир среди них и в своем сердце.

Антонов переводил, я наблюдал за ними и видел, как они один за другим кивают, решительно, сдержанно, как будто мы с ними запланировали операцию захвата, но отсрочили ее на время, чтобы подготовиться. Сказал что-то только Михаил:

— Они нас забыли, да? Шавка и толмач и?..

— У них голова другим занята. Нам это на руку, можем отдыхать.

Я велел им не бузить, сказал, что мне надо уйти — но я вернусь.

Они кивнули, и вид у них был даже пристыженный.

Я посмотрел на лежащего на стуле кота.

— Я вернулся в тот раз, — сказал я, — вернусь и в этот.

Снова кивки. Уходя, я шепнул Антонову, чтобы он присматривал за учителем.

Каскад осветительных гранат разодрал ночное небо, черные силуэты суетливо метались среди руин, бронетехника в центре пришла в беспорядочное движение, но постепенно развернула свои огромные черные гусеницы на северо-восток, и время от времени орудия давали залп по лесу, скорее по старой привычке, потому что настоящая война шла теперь на равнине перед Хулконниеми — с едва различимыми батареями русских, шмалявшими без передыху, разрывами «неприятельских» гранат, приближавшимися к нашим позициям стежок за стежком, как строчка гигантской швейной машинки, ором, командами, предсмертными криками, санитарами, подающими опознавательные сигналы, — машину понесло вразнос, она застлала город завесой коричневого, пузырящегося, сального смрада, такого густого и плотного, что он загородил все небо, а внутри всего этого обретались мы, точно червяки в гниющем яблоке.

Палатка, в которой Николай допрашивал меня, сгорела. Из бункера в школе доносились голоса, поленница у дома бабки Пабшу была истоплена почти вся, штабная полевая кухня стояла холодная, брошенная, а вот до кучи дров у магазина Антти никто не дотронулся. Но как толковать эти изменения, в сущности ничего не менявшие, я не знал, поэтому, вернувшись, сказал рубщикам, что сейчас мы спокойно поедим, а потом еще поспим.

И снова в их взглядах засквозило сомнение. И снова они ничего не возразили. В молчании поев, они легли каждый в свою кровать и уснули, а я с котом и стулом остался на кухне.

Посреди ночи меня разбудил Антонов, сказал, ему не спится, он махал руками, он был в смятении, может, температурил.

— Что там происходит?

— Я не знаю.

Но добавил, что нам не надо беспокоиться, главное — быть выспавшимися и полными сил, когда что-нибудь начнет происходить: эвакуация, крах, ковровые бомбежки… надо быть наготове и иметь силы, только и всего. Чтобы его отвлечь, я спросил, как там разговорившийся учитель.

— С ним порядок, — буркнул этот крестьянин,

но с таким выражением на лице, словно хотел сказать «насколько эдакое чучело вообще может быть в порядке».

Я возразил, что Суслов мужик крепкий, он нас еще удивит. Антонов с сомнением пожал плечами.

— Подожди, увидишь, — сказал я задиристо, словно бы мы спорили о том, как поведет себя Суслов. Антонов снова пожал плечами, посмотрел на меня удрученно и ушел спать.

Наутро та же картина — ни Федора, ни хотя бы Шавки. А война ближе к полудню усилилась. Нам приходилось перекрикиваться друг с другом. Я сварил рубщикам кофе и сказал им, что мы и сегодня не будем делать ровным счетом ничего, а только спать и ждать, в крайней случае пошлем Михаила за едой.

Но оказалось, что и этот крепкий парнишка сломался: он сказал, что конечно сходит за жратвой, но сначала желает выяснить, есть ли и этом доме подвал.

Я кивнул, и между ними вдруг вспыхнула жаркая свара. Когда, наоравшись, они угомонились, Антонов спросил, можно ли им перетащить матрасы в подвал.

— Пожалуйста, — сказал я. — Но там очень хо-

лодно, а в смысле безопасности что тут, что там — один черт.

Антонов перевел, снова забурлили страсти, особенно рвались в подвал братья. Я сказал Антонову — объясни им, бессмысленно делать то, в чем нет никакого смысла, Он скривился и заявил, что не понимает меня и поэтому не может перевести.

Я повторил, что в подвале опасно точно так же, как в доме, но из дома хоть выскочить можно.

Он пожал плечами и кивнул в сторону братьев, мол, попробуй сам их уйми. Но к этому времени все немного поостыли, даже Суслов поддался на уговоры и согласился провести еще одни сутки наверху.

В конце концов все расползлись по своим кроватям, только братья ушли в подвал в обнимку с матрасами. Но посреди ночи притащились назад и легли на полу в кухне, точно собаки у ног хозяина, Я притворился, что сплю, Лев плакал, Надар костерил его почем зря. Потом все стихло и в доме, и снаружи, от затянувшейся тишины мне стало казаться, что я оглох. Под утро явились Михаил и Антонов и потребовали объяснений: что все-таки происходит?

— Они эвакуировали город!

— Нет, финны заняты перегруппировкой. Хо-

рошо это для нас или плохо, мы поймем, только когда они начнут снова стрелять.

Они растерянно переглянулись.

— Они готовят штурм?

Я повторил, что ничего не знаю и что гадать бессмысленно. Антонов опять не понял, показалось мне.

— Он что, надеется, что финны возьмут город раньше, чем мы унесем ноги? — спросил я.

Антонов совсем растерялся. Я засмеялся и стал приставать дальше: а думал ли он вообще о том, что́ может с нами случиться, что́ нам грозит? Понимает ли он, насколько осторожно и безошибочно мы должны действовать — если нам вообще стоит что-то предпринимать; я припомнил библейское игольное ушко, и Михаил заржал, хотя не понял моих слов.

Они ушли, разбудили остальных и стали шепотом держать совет, точно боялись, что я услышу. Нашептавшись, подхватили матрасы и, не взглянув в мою сторону, исчезли в подвале.

Я остался себе на кухне.

Только когда сквозь заиндевевшие окна просеялся день, война ожила снова. Звучание ее действительно изменилось, но по-прежнему было невозможно понять, хорошо ли это для нас.

Вскоре вылезли из подвала рубщики; смущенные, продрогшие, они сгрудились вокруг печки, ночью они от холода и глаз не сомкнули, лучше уж в лесу вкалывать, а еще лучше — пусть сразу пристрелят, Антонов выразительно постучал себя по лбу, дескать, дурная голова доконает даже того, кто под пулями уцелел.

— Марш по кроватям, — сказал я.

Они уставились на меня, не веря собственным ушам.

— Мы что, опять никуда не идем?

На лицах застыло отчаянное недоумение.

— Нет, — холодно сказал я. — Если дом достоит до темноты, я схожу посмотрю, что там творится. А нет — то и думать не о чем.

Они не выходили наружу уже почти трое суток. Но мне нужно было это время, каждый час, вот и руки мои зажили, и смотрел я теперь двумя глазами, только из левого вроде что-то текло, казалось мне. И рубщики послушались меня и на этот раз.

8

Перед последним затишьем гранаты падали на улицу перед домом и на пепелища чуть западнее нас. Теперь они летели в лес за нами, ложились на поля и полукругом разлетались у руин церкви, где у Илюшина стояла тяжелая артиллерия. Зря мы мучились-гадали, как теперь будет да что — все осталось по-прежнему, мы снова непонятно на каком свете.

Не сказав ничего рубщикам, я вышел из дому и отправился к командному пункту, часовой вскочил и наставил на меня ружье, Я поднял руки и спокойно смотрел на него, ждал, пока он меня узнает. Он махнул стволом ружья и уже собрался толкнуть меня в бункер, но тут рвануло всего в нескольких метрах от нас, и он опрометью бросился внутрь, Я сел на скамейку и как приклеенный с полчаса сидел, дожидался Николая, наконец он появился вместе с раненым офицером.

Я поднялся навстречу, я был само смирение.

— Прибыл за новыми приказами, — сказал я.

— Приказами? — переспросил толмач. Он ду-

мал о своем и еле меня узнал, погруженный в беседу с раненым офицером. Когда тот, сильно хромая, ушел на позиции, я решился напомнить о себе:

— Мы не работаем уже несколько дней. И я подумал…

Он хотел было перебить меня, но я продолжил:

— Все эти дни мы не видели ни Федора, ни интенданта, ни взвода охраны…

Он задумался. Рядом упала еще одна граната, нас окатило снегом и щепками, толмач этого не заметил. В первые дни Николай бывал неизменно чисто одет, опрятен и тщательно выбрит, красавец, украшение всей дивизии, сейчас об этом ничто не напоминало.

— Федор дезертировал, — сказал он, плюхнулся на скамью, отхаркался и рассказал, что сержант просто-напросто сбежал вместе со всем своим жалким войском, надеются, видно, вернуться назад через границу, идиоты, заключил он и закурил.

— Может, финнам сдадутся, — предположил я.

Он сделал вид, что не слышал.

— Если танки к нам не прорвутся, наша песенка…

Он затянулся, вонзил в меня взгляд и, не вы-

пуская дыма изо рта, закончил фразу: «Спета», очевидно и думать забыв о том, как они меня избили. — Но ты ведь не за приказами явился?

— За приказами, — сказал я, ведь мне хотелось разузнать, что происходит в домах, где они топят печи, живет ли там кто-то, и чего Николай добивается: проверяет, можно ли в них находиться, или вынуждает финнов сровнять их с землей, других вариантов у меня не было, а речь наверняка шла и о том, и об этом одновременно, об эдакой гремучей смеси, мешанине замыслов и помыслов, на войне вообще все путается, но рассуждать об этом — не моего ума дела, вовремя сообразил я, а мне важнее прояснить кое-что еще, к чему я перешел, когда толмач не поддержал разговора о домах.

— Я обдумал твои слова о дороге по льду, — сказал я, — вам нельзя этого делать.

Он разинул рот.

— А что нам делать?! — завопил он и вскочил. — Торчать тут всю зиму? Ты хоть немного представляешь себе, сколько людей мы потеряли за одну сегодняшнюю ночь?!

Он вдруг схватил меня за грудки, притянул к себе и прохрипел, что если я еще раз упомяну вслух эту треклятую дорогу, то от меня не останется да-

же мокрого места и Бог и тот меня не опознает.

По его хватке я понял, что он таки слабак, так я и знал, но все же дал ему попетушиться всласть, на это ушло время.

— Вы даже танки не перекрасили в белый цвет, — продолжил я, не сворачивая с колеи. Он взвился по новой.

— Ты нас в могилу сведешь этими своими идиотскими предостережениями! Чего ты хочешь? Чтоб мы здесь остались? Или на лед сунулись? Один черт, да?!

Тут он как будто бы услышал свои последние слова, примерно то же, что я говорил и о домах: никто и ничто никуда отсюда не денутся, сглотнул, сел на лавку, хлопнул себя по коленям и дернул меня вниз, усадив рядом с собой.

— Ты нам точно не поможешь, — сказал он смущенно, выпуская дым сквозь стиснутые зубы.

— Нет, — ответил я.

— Ну да, это же предательство, а ты не предатель. — Он хмыкнул. — Ты, конечно, чудак каких поискать, но ты не предатель, ты лесоруб!

Я первый раз услышал, как он смеется.

— Да, — сказал я.

Он снова посерьезнел.

— Слушай, а вот если я передам твои предосте-

режения выше, как ты думаешь, что они скажут?

Я пожал плечами, и мне показалась, что он вдруг заметил, что у меня с лицом.

— Впрочем, какая разница, — бросил он и наклонился к прошитому пулями и посеченному осколками брустверу.

На протяжении всех этих недель я ни разу не видел его таким измотанным, подавленным, таким грязным, вялым и растерянным, ни силы, ни духа, он напоминал моих рубщиков в худшие дни, пока они не вернулись к жизни.

— Знаю, знаю, куда ты клонишь, — раздалось вдруг. — Нет, мы не сдались. Я — не сдался.

— Понятно, — ответил я. — Но что будет дальше, завтра нам надо на работу, топливо в городе на исходе.

— Так идите, работайте. Делайте что хотите!

Это была только половина нужного мне ответа.

— А охрану нам дадут?

Он горько ухмыльнулся.

— Ты видишь, что творится.

— Вы ждете нового наступления? Ночью, утром?

— Ну ты спросил… — они наступают все время, сейчас вот очередной штурм.

Он вздохнул.

— Да, — признался он, — мы ждем наступления.

— Тогда я выжду еще одну ночь, — сказал я и поднялся.

— Выжди, — ответил он и затушил сигарету.

— Это займет не больше одной ночи, — сказал я, чтобы подчеркнуть, что вел речь, возможно, не о рубке дров; я стоял, нависая над ним, и запросто мог пришибить его одним ударом.

— Я понял, — просто ответил он и, разом поникнув, отвернулся.

— Какой сегодня день? — спросил я.

— Двадцать четвертое, нет, двадцать восьмое…

Я подумал, что если взять его с собой, с ним еще окажется возни больше, чем с остальными, и не только потому, что он сейчас гораздо слабее рубщиков, но вдобавок чувствует свою ответственность, он офицер, в нем живет рабский страх, но нет рабской свободы, как в лесорубах. И вообще: на что он мне сдался? Потому что я ему нужен? Я подумал, что раньше ни о чем таком себя не спрашивал, колупался вслепую, ровно как он, а теперь, пока мы тут сидим и говорим обиняками, каждый в надежде, что второй поймет, но не до конца, этот кошмар безжалостно

обгладывает мои леса, нет, это совершенно невозможно — побрататься с ним, с человеком, в душу которому я никогда не отважусь заглянуть, так мы с ним похожи.

— Значит, я тебе сказал. Ты в курсе.

— Еще чего, — ответил он.

— Мне еда нужна.

— Могу дать водку, — сказал он, поднялся, охая, ушел и вернулся с флягой, тремя буханками хлеба и гримасой бесконечного презрения, презрения к себе.

Рубщики уже встали. Они собрались в кухне и затеяли там драку. Родион и братья-киевляне лупили друг друга, остальные стояли вокруг, хохотали, подзуживали. Я разнял их, но Надару пришлось наподдать, еще этой гадости не хватало. Он выл, как раненый зверь, и разыгрывал обиду, как обиженный ребенок. Присмотревшись, я заметил, что он прижимает что-то к груди. Одну туфлю. Родион снова кинулся на него, выдрал у него туфлю, съездил ему по лицу и убежал в гостиную.

— Я только взял подержать, — гундел Надар, а остальные надрывались от хохота.

Антонов отказался говорить, что у них произошло; тогда я принес с улицы топор, нашел в

комнате Родиона — он всхлипывал, сгорбившись на стуле, — притащил его на кухню и спросил: ну, кто хочет умереть первым? А потом сказал, что начну с Антонова, если он сию же секунду не переведет им все это.

Они вытаращились на меня точно громом пораженные.

— Мы уходим, — сказал я.

Антонов, заикаясь, перевел.

— Но сперва надо найти в доме всю одежду и сложить ее здесь, мотом я сам скажу, кому что надеть и что мы будем делать дальше.

Они послушно принялись обшаривать дом. Поделив одежду, я сказал, что мы с Михаилом идем в город искать лыжи. Они молча покивали. Губы Надара дрогнули в ухмылке, часто посещавшей его пустое лицо, когда он разговаривал с братом на их языке. Я сунул ему под нос топор и держал, пока Надар не сел на лавку и не запросил пощады. Потом я велел Антонову следить за ними, а Суслову — проверить, не осталось ли в доме еды, а что найдет, то пусть упакует в два мешка.

Мы рыскали по городу несколько часов, но нашли только две пары лыж, одни к тому же детские, ни у кого из нас сапоги не влезали в эти крепления. Зато мы отыскали маленькие саноч-

ки, Михаил раздобыл две свежие буханки хлеба, а в разваленном фундаменте, оставленном уже русскими, обнаружили двенадцать касок, восемь упаковок армейских галет и огромный рулон бинта. Каски мы оставили, остальное погрузили на санки.

На обратном пути мы наткнулись на расстрельную команду, четверо бритых налысо солдат — видимо, дезертиров, — стояли у края канавы за лазаретом. По сигналу офицера, которого я раньше видел в бункере Илюшина, снайпер уложил их одного за одним в канаву, они не издали ни звука. Михаила била дрожь. Подойдя к дому, я попросил его подождать на улице, сходил за Антоновым и велел ему сказать Михаилу, чтобы он никому не рассказывал, что мы с ним видели.

— А что вы видели? — спросил Антонов, тяжело глядя на меня, и я снова подумал, что ничего у меня не выйдет, это невозможно провернуть без языка и без оружия, Николай все же нужен. Но, против ожидания, Михаил послушно кивнул и посмотрел на меня своим умным лисьим взглядом, поэтому я в очередной раз не стал пока ничего решать про Николая — никак мне это мучительное решение не давалось, — а зашел в дом и занялся лыжами, ломая голову над тем, как

мне продержать рубщиков в доме еще сутки, а то и больше, кто знает, сколько пройдет времени, пока игольное ушко расширится.

9

Я раздал рубщикам поручения: кому топить, кому чинить инструмент, кому стирать и прибираться, сказал, что мы должны оставить дом в том же чистом виде, в каком он был. И наврал, что хочу узнать как можно больше о каждом из них, дескать, мне важно понять, что они могут, а чего нет, сказал я; Антонов толмачил, старался изо всех сил, хотя я заметил, что он переводит не все. А учитель снова заговорил, ровно и убедительно, как у школьной доски.

— О чем он? — спросил я, потому что речь никогда не кончалась.

Но Антонов мгновенно ответил — да так, ерунда, ни о чем, и мне показалось, что дело не в трудности перевода, проблема в учителе и теме.

— Брось, — сказал я. — Переведи.

Крестьянин закатил глаза.

— Ну, он о каком-то ученике своем рассказывает, тот украл коня…

— И?

Суслов знай себе вещает дальше с загадочной улыбкой, выдаст длинное предложение и ждет

Антонова, тот переводит вдвое-втрое дольше. Потом Суслов продолжает; все внимательно слушают, если он пошутит, они не смеются, пока Антонов не переведет, чтобы посмеяться вместе со мной, а когда учитель скажет что-нибудь глубокомысленное, все кивают после слов переводчика. Оказывается, мальчишка, ученик Суслова, украл коня и поскакал в соседнюю деревню, продавать. Но его арестовали, На допросе он заявил, что сделал это не ради денег для своей семьи, а по приказу председателя колхоза, где работал его отец; и сколько парня ни били, он от своих слов не отступился.

Взяли председателя, он обвинений не признал. Но люди не могли поверить, что двенадцатилетний малец способен так долго лгать, и встали на его защиту. Затеяли разбирательство, и выяснилось, что председатель мухлевал с деньгами, приворовывал, расстроил свой и без того завидный дом. Короче, его арестовали и осудили не только за мошенничество с деньгами, но и за конокрадство, к которому он был не причастен. А мальчишку отпустили и выставили героем.

Суслов удовлетворенно замолчал.

— И в чем смысл? — спросил Надар, видя, что продолжения не будет.

Учитель улыбнулся и спросил, как он сам думает, словно бы перед ним был ученик-тугодум. Надар обиделся, а Суслов вдруг окончательно почувствовал себя в своей стихии.

— Глупый, — сказал он Надару. — Разве ты не понимаешь: ребенку гораздо труднее врать, чем взрослому.

— Но он же сумел?

— Да, он сумел. Сподличал по-взрослому.

Учитель скрестил руки на груди, в комнате стало тихо.

Лев вступился за брата:

— Так и хорошо, разве нет? Поймали жулика.

— Одна подлость не оправдывает другую, — сказал Суслов уже с явным раздражением. — Человек не имеет права…

— Что значит — не оправдывает? — вскрикнул Михаил. — По-моему, все по справедливости и вышло.

— Ты так говоришь по недомыслию. В цивилизованной стране мальчишку бы тоже наказали. А председателя разоблачили гораздо раньше.

Рубщики переглянулись и затараторили все разом, Антонов и не пытался переводить.

— Скажи им, здесь я решаю, что справедливо, а что нет, — велел я ему.

— Так он же еврей, — возразил Антонов по-фински, презрительно тыча пальцем в сторону Суслова, и тот, видимо, понял, о чем речь, так как разразился длинной гневной отповедью. Все захохотали, Антонов тоже.

— Он говорит, что он цыган, — хмыкнул он.

Суслов, видимо, понял и это тоже и разъярился окончательно. Когда он наконец смолк, Антонов перевел, что Суслов, оказывается, назвался цыганом просто для примера.

— Примера чего?

— Не говорит. Он хочет нам что-то доказать.

Суслов уже не орал, а визжал.

— Теперь он говорит, что у нас ума меньше, чем у одного русского. Он взбешен.

— Я вижу. А он правда еврей?

— Нет, нет и нет! — завопил учитель.

— Ты понимаешь по-фински? — спросил я. — Спроси: он знает финский?

Антонов спросил, в ответ Суслов опустился на стул и закрыл лицо руками. Остальные заговорили между собой, мне показалось, речь шла о водке и сигаретах. Вдруг учитель снова взвился.

— А всего через два месяца мальчишка украл другого коня! — радостно перевел Антонов. Рубщики хохотали и хлопали в ладоши.

— Тоже на продажу?

Учитель смотрел на Михаила затравленно, как на безнадегу.

— Это не важно. Важно, что он деградировал как личность. Мораль истории такова: мальчишка стал продажным человеком.

С нетерпением дождавшись, пока Антонов все переведет, они еще помолчали — ждали, когда я скажу свое слово, но я безмолвствовал, и младший из братьев задал волновавший всех вопрос:

— Он хотел продать и этого коня тоже?

— Да, — ответил учитель бесцветным голосом и демонстративно замолчал.

— Он не желает продолжать разговор, — сказал Антонов.

Рубщики стали наседать на учителя, они и грозили, и улещивали. Надар вскочил со словами, что прибьет его, учитель рявкнул в ответ то, что даже я понял.

— Идиоты! Ничего вам больше не скажу!

— Он назвал нас всех идиотами. Тебя тоже.

— Меня?

— Да, и финн тоже, так и сказал.

Михаил процедил что-то сквозь зубы, учитель смутился.

— Михаил ничего такого не сказал, — тут же

выпалил Антонов и сцепил руки на груди.

— Врешь, — ответил я. — Переводи!

— Не буду.

Я вынул из короба с дровами топор, положил его на стол и сказал Антонову, что у него ровно одна минута. Он боязливо посмотрел на Михаила.

— Он пригрозил убить учителя, если тот не расскажет дальше, — произнес Антонов бесстрастно и потупился, словно он тоже считал, что учителя надо заставить говорить. Я заметил, что остальные не сводят с нас глаз.

— Мы должны помогать друг другу, — сказал я.

Антонов глянул на меня с недоумением.

— Мне это переводить?

— Да.

— Но мы хотим услышать, чем все кончилось.

— Я не знал, что ты говоришь по-фински так хорошо, — сказал я, он удивленно зыркнул на меня, потом гордо кивнул.

— Я много чего умею. Но мы хотим дослушать историю. Это наше право!

Я был с ним согласен, но боялся, что уступчивость повредит моему авторитету, а между тем учителю явно не терпелось узнать, о чем мы говорим. Я придвинул к нему топор, положил обе руки учителя на рукоять и сказал:

— Скажи ему: пусть защищает себя.

Антонов взглянул на меня очумело, но перевел, и Суслов отдернул руки от топора, словно обжегшись.

— Он говорит, ему защищать нечего, — заржал карел.

— Пусть рассказывает.

Антонов вдохнул и рыкнул что-то учителю в лицо, тот беспомощно откинулся назад. Остальные громко захохотали.

Я притянул Суслова назад, к столу, и жестом объяснил ему, что выбора у него нет. Он заговорил, но голос звучал безжизненно и равнодушно, как речитатив в пустом храме. Рубщикам опять не понравилось.

— Это саботаж, — сказал Антонов и уж собрался рыкнуть на учителя еще раз, как его опередил Михаил, судя по всему, снова пригрозивший Суслову расправой. Тот обреченно замахал руками, продолжая нудно бухтеть.

— Теперь он говорит, что история закончилась, когда мальчишку похвалили вместо того, чтобы наказать. Это в ней единственный поучительный момент. А твое мнение?

— А зачем он рассказал, что парень украл другого коня?

Антонов перевел вопрос. Суслов отвечал как приговоренный к казни.

— Говорит, мы его вынудили.

— Так это неправда?

— Правда, но это уже лишнее доказательство, ненужное — ну, того, что мальчишка испортился, стал продажным. Вот что он говорит, но, по-моему, недоговаривает, просто чтоб мы от него отвязались.

В первый раз увидев Антонова, я подумал: что-то с ним не то. Так пугает нас звереныш, с рождения ведущий себя не как остальные, мы ведь не ждем, что собака будет петь, а дрозд блеять. Дело в том, что Антонов всегда выглядел так, словно работает дома, на своем поле, рубит и сгребает граблями в какой-нибудь ясный и мирный летний денек, и это было непостижимо, ведь мы все тут одичали, перестали себя за эти недели узнавать, и вот этого непрошибаемого Антонова так заела чья-то болтовня.

— По-моему, он просто сволочь, — все не мог угомониться карел. — Наверняка он и еврей, и цыган тоже, я слышал, такое бывает.

Я опять сказал ему, что он здорово шпарит по-фински, хотя он сажал по ошибке в каждую фразу.

— Это дело нелегкое, — сказал он примирительно и потянулся, как после тяжелой работы.

Учитель воспользовался заминкой и пристроился полежать на лавке с ведрами. И тут твердь у нас под ногами тряхануло так, что с полок посыпались стаканы и чашки, а стекла обоих обращенных к дороге окон внесло в дом.

Убедившись, что никто не ранен, я выскочил на улицу и увидел, что ближайший дом, один из тех, в которых Николай топил печь, разрушен прямым попаданием, крыша и стены пылали, среди руин бегали люди с ружьями и санитар со скатанными носилками. В ответ ударила артиллерия Илюшина, а стоявшие вокруг развалин церкви танки тронулись с места и вереницей потянулись на север.

Я рванул выше, к дому бабки Пабшу — он стоял как стоял, темный и заброшенный. А из соседних домов выскакивали солдаты, их было несколько десятков, и исчезали в ближайшем окопе. Человек шесть пытались потушить полыхавшую полевую кухню, мельтешили солдаты и офицеры, мешались звуки, и я впервые увидел зарево в лесу на той стороне озера: это били финские орудия, они стояли у самой паромной переправы.

Я вернулся к рубщикам, они испуганно вжима-

лись в пол, выбирая из волос и одежды осколки и щепы, только Михаил заколачивал фанерой выбитые стекла, как безумный твердя одну и ту же фразу.

— Он говорит, что живой, — сказал Антонов. — Что будем делать?

— Не знаю.

Мы сидели и молча слушали войну, пока нам не показалось, что она зазвучала как обычно, а может, мы просто привыкли к новому звучанию.

— По-моему, Рождество, — сказал Антонов в пустоту.

— Да, — сказал я. — Вчера было…

Он задумался.

— Финское?

Я кивнул.

— Мы выживем? — спросил он.

— Да, — ответил я.

Он обдумал и эти мои слова.

— Откуда ты знаешь? — он выдавил улыбку.

Я попробовал тоже улыбнуться.

— Они отступают, — сказал я. — У них там тоже разброд.

Антонов выкрикнул несколько фраз по-русски, и все посмотрели на нас, ожидая чего-то.

— Ну а мы что?

— Я не знаю.

— Что финны сделают с нами?

— Тоже не знаю.

Родион был коренастым и крепко сбитым мужичком, и даже теперь, похудев и осунувшись, он совсем не казался хилым — этот механик с головой странной формы, обладатель пары дамских туфелек, которые он снова баюкал у груди.

— Формы на нас нет, — бубнил он. — Они могут принять нас за пленных или дезертиров, мы можем так и говорить.

— Русские нас не тронули, — сказал я, — поэтому как теперь посмотрят на нас финны, я не знаю. К тому же неизвестно, что вообще останется от города, пока финны его возьмут…

А потом я стал рассказывать о своем хуторе, это километров двадцать от города, в Лонкканиеми, сказал, что если все не против, мы может укрыться там, на хуторе есть и еда, и горючее…

Я разливался соловьем, а непрошеные мысли о том, каким образом эти доходяги по метровому снегу одолеют два десятка километров, в сорокаградусный мороз, да так, чтоб их не заметили ни финны, ни русские, плотной цепью лежащие по обеим сторонам озера, — эти мысли я старался задвинуть подальше, но тут потребовал слова Лев.

— Он говорит, что нам надо сделать из простыней накидки, как привидений изображают, — с улыбкой перевел его Антонов, — чтобы они нас не заметили.

— Я тоже об этом думал, — соврал я, раздосадованный, что мне не пришла раньше в голову эта простая мысль; в доме полно постельного белья, кипенно-белого, и машинка швейная есть. Братья тараторили, перебивая друг дружку, старались убедить остальных.

— Они считают, что надо попробовать, — сказал Антонов. — И я тоже «за». А лошадей мы не найдем?

Я задумался, мне уже хотелось отыграть назад.

— А учитель как думает?

Антонов поговорил с Сусловым, тот кивнул, он тоже готов был рискнуть. Я посмотрел на Михаила, и тот снова сказал «за», хотя вид у него был оглоушенный. Мы взглянули на Родиона, он лежал на коврике, закрыв лицо руками, красные отсветы от огня в печке блестели на лысине, мизинцами он мерно похлопывал по закрытым векам.

— Да! — сказал он, не глядя на нас. — Да, да, да!

Они были похожи на детей, которым удалось добиться своего, поэтому мы, не обращая внима-

ния на грохот, от которого повыбило стекла и в восточной стене тоже, стали собирать по всему дому белые полотнища; мы оттащили в кухню Роозину машинку, братья кроили, а Родион с учителем строчили; они озорничали и болтали, переругивались и смеялись, им было глубоко плевать на грохотавшую за окном битву. Одно хорошо: они теперь будут заняты делом до утра, надо надеяться, потому что нам осталось одно только это игольное ушко. Как давно был сожжен Суомуссалми? Три недели назад, четыре? Целый человеческий век. Но потом снова возникли проблемы: братья требовали пуститься в путь как только маскировочные накидки будут готовы, Суслов, отчего-то ставший главным поборником этого безрассудного плана, возражал, Мне пришлось перейти на крик, чтобы заставить Антонова утихомирить их.

Посветлело всего на несколько часов, мороз не спадал, разрывы гранат, крики, железные гусеницы, перемалывающие мерзлые комья земли, машины, которые горят, обугливаются и сгорают, деревья, которые ломаются и валятся на улицы и траншеи, бегущие люди, орущие люди, город держался, и нам оставалось делать то же, что и все это долгое время, — ничего.

Я законопатил окна подушками и простынями и безостановочно жарко топил печь в кухне, где я обретался вместе с котом, Антоновым и Михаилом, которые спали по очереди, сторожа меня. Антонов устроился у печи, взял чурбан и ковырял его ножом, изредка бормоча что-то себе под нос, широченные плечи на минуту напрягались, когда снаряд ложился близко, рубщики приделали к накидкам остроугольные капюшоны, мы походили на белых монахов.

— Не верится, — пробормотал вдруг Антонов.

— Ты о чем?

— Что они в дом не попадают.

Я кивнул. Он опустил нож и посмотрел на меня.

— О чем ты думаешь, когда тебе хорошо? — спросил он.

Я не понял вопроса, потому что он сделал четыре ошибки в предложении, но он повторил его, я сообразил, что он хочет поговорить.

— О лесе, — сказал я, просто чтоб не молчать. И он коротко хохотнул, будто сроду ничего глупее не слыхивал. — Лес так приятно шумит, — продолжил я. Он засмеялся громче.

— Сейчас я бы этого про него не сказал.

— А ты о чем думаешь?

Он долго молчал, потом серьезно ответил:

— О моем сыне. Я представляю себе, что он получил хорошую профессию, прилично зарабатывает, счастливо женился, родил пятерых славных ребят, что он состоялся в жизни и строит ее по себе, вот о чем я думаю.

Он бросил на меня взгляд, а потом вздохнул и продолжил:

— Но это я так, мечтаю, ничего из него не вышло, ни жены у него нет, ни детей, не годен он ни на что.

Он улыбнулся.

— Но я все равно думаю, что он женился и как-то устроился в жизни, как я думал когда-то, пока он рос и надежда еще оставалась; странное дело, я же знаю, что обманываю себя, но все равно мне приятно об этом мечтать, как будто еще не поздно.

— А еще я думаю о воде, — сказал я, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, и стал рассказывать о Киантаярви, к концу лета оно прогревается градусов до двадцати и можно купаться с четырех камней, спускающихся вниз как лесенка, и плавать среди камышей и лилий, смотреть на ласточек и слушать зудение всяких мошек, я запросто умею лежать на воде, я так даже спать

могу.

Антонов кивнул.

— Ну а бабы? — сказал он сухо. — Про баб ты никогда не думаешь?

— Никогда, — соврал я, потому что я часто мечтаю о женщинах, особенно о Марии-Лиизе Лампинен, она была нашей учительницей в школе, как же от нее пахло молоком в те годы, когда все чувства распалены, а теперь она стала такая тощая и холодная, что я стараюсь избегать ее при встречах и дров ей больше не продаю, я бредил ею в молодости и всегда думаю о молодой Марии-Лиизе, а эта старая тетка может стареть сколько ей влезет, это ее дело, и я вдруг понял, что думаю точно как Антонов, мечтаю о том, чего больше нет, о времени, когда надежда еще оставалась, и думаю так, как будто она еще не вся вышла, и тогда я впервые испугался, мне это показалось знаком того, что мы не сдюжим и что мы оба это поняли, словно бы побратавшись, не так уж это невозможно, потому что этого человека я понимал, мы были очень похожи.

— Надо уходить, — сказал я. — Буди всех. Немедленно!

10

От задней стороны дома через ельник, куда я вешал свиную тушу, ведет неглубокая тропка. Я шел первым и тащил санки, нагруженные едой, постельным бельем и всем, что, по моему разумению, могло нам пригодиться: инструмент, котелки, веревки, одежда плюс Родионовы туфли. К санкам я привязал веревку, чтобы остальные держались за нее или обвязались ею. Лыжи я отдал учителю, а детскую пару — Родиону. За ним шли братья, а последними — Антонов с Михаилом. По-хорошему надо бы двум самым сильным идти впереди и торить путь, но тогда я потерял бы контакт со слабейшими.

Позади нас опять полыхал город, и пока мы не перевалили через низкий пригорок, где мне пришлось решать, идти ли нам вдоль озера, что было самым легким, или продираться сквозь лес, что было самым надежным, город пыхал нам в спину огненными языками, похожими на студеный закат.

Я бросил санки и пошел назад вдоль нашей колонны, заглядывая каждому в лицо. Родион и

Суслов, оба, отвели глаза, они тяжело дышали, никто не радовался, что мы успешно миновали передовую, все наши силы шли на борьбу с холодом, он стоял между деревьев как непреодолимая стена из битого стекла.

— Все нормально, — прохрипел Антонов, — Нам далеко еще?

Я не ответил, а попросил его узнать у Михаила, не мерзнет ли тот.

Парнишка ответил:

— Нет.

— Спроси еще раз, — сказал я. — И пусть говорит правду.

Михаил снова ответил: нет, раздраженно, но вяло.

Я повторил Антонову, что если парень замерзнет, он уже не согреется. Крестьянин спросил, про что это я заладил.

— Нам далеко еще?

Я и в этот раз не ответил.

Выстрелы слышались где-то впереди, у озера. Я вернулся к санкам и потащил их в лес, вдоль по тропинке, которой я хожу летом.

Но не прошли мы и полукилометра, как учитель стал всхлипывать; рыдания делались все громче и громче, так что довольно скоро я вынуж-

ден был остановиться. Суслов показал знаком, что хочет снять лыжи.

— Спроси, не мерзнут ли у него ноги.

Учитель сказал, что ноги не мерзнут, но идти в лыжах невозможно, слишком тяжело.

— Без них еще тяжелее, — сказал я. — Пусть не снимает.

Насколько я видел, с остальными все обстояло неплохо, я только в Михаиле сомневался, поскольку жаловаться он никогда не жаловался и узнать, как он на самом деле, я не мог.

— Он знает, что ему надо все время двигаться? — спросил я Антонова. — Даже когда мы стоим на месте, пусть шевелит пальцами на руках и ногах.

Крестьянин перекинулся с парнишкой парой слов, и оба сказали «да». Я проверил, насколько мог, остальных, никто ни слова не говорил, но и белых пятен обморожения ни на ком не было, я решил двигаться дальше.

Учитель замолк. Но еще через километр Родион шепнул что-то и упал навзничь. Я услышал, как выматерился Антонов. В следующую секунду лег на снег Лев, а его брат опустился на колени. Я велел Антонову поставить их на ноги. Он взялся за дело жестоко, но никто не кричал и не про-

тестовал.

— С этими слабаками, — пыхтел Антонов, — у нас ничего не выйдет. Пусть остаются.

Я ответил, что думаю о том же.

— Мы не можем разжечь костер, потому что его далеко видно. Но если мы будем двигаться, не останавливаясь, до самого…

Он чихнул и заговорил с Михаилом. Парень ничего не отвечал. На секунду показалось, что Антонов вот-вот потеряет сознание.

— Еврея и прочих оставляем тут, — прорычал Антонов. — И Михаила тоже, у него больше нет сил. Только ты да я можем это выдержать.

Я притворился, что обдумываю его слова.

— Мы идем дальше, — сказал я. — Делай что хочешь, но они должны стоять на ногах.

Нам несколько раз встречались следы, проторенные пешими, и лыжниками, и колесами, но мы не пошли по тем следам, хотя идти так было бы легче. Из-за спины то и дело доносились возмущение и недовольства, но я делал вид, что ничего не слышу. Потом мы снова напали на следы и тут же уткнулись в штабель из двадцати с чем-то трупов русских солдат. Родион зарыдал, остальные молча отпрянули. Я рассмотрел задубевшие тела — все застрелены, наверно, при попытке

сбежать, но почему их навалили такой грудой?

— Их расстреляли? — спросил Антонов.

— Не думаю, — сказал я. — Но кто скинул тела в кучу, я тоже не знаю.

В одном вещмешке я нашел флягу с водкой, в другом — замороженный хлеб, пару одеял, но на них не было ничего из оружия, и никакой годной к носке одежды я тоже не нашел. Мы прошли еще несколько сот метров и сели посидеть на куче валежника, я дал Антонову разделить водку. Он сам не пригубил, передал Родиону, который вдруг вскрикнул и стал отплевываться. У Антонова хватило сил засмеяться. Я сказал, что это моя ошибка, и забрал у него флягу. Но теперь заорал Надар, мы сидели на штабеле трупов, пролежавших здесь, судя по глубине снега, примерно неделю. Я огляделся и тут и там на крошечной полянке заметил под искристым снегом какие-то возвышения. Антонов несколько раз наподдал ногой по ближайшему к нам, и показался темный кусок солдатской формы, русской.

— В нескольких километрах от города есть избушка, — сказал я, — мы, должно быть, где-то неподалеку.

— Неужели мы прошли всего несколько километров?

Я не услышал вопроса.

— Она такая приземистая, что ее заносит снегом полностью. Поэтому возможно, что ее никто до сих пор не обнаружил.

Антонов умоляюще посмотрел на меня. Я сказал, что нам надо идти дальше.

И через час мы нашли избушку, из-под снега ее не было видно совершенно. К тому моменту мы не только потеряли Родиона и Льва, но и снова вернулись на войну: на льду всего в каком-нибудь полукилометре от нас шло настоящее сражение.

Я попросил Антонова откопать дальнюю от озера стену избушки и прорубить лаз внизу, а сам сходил и приволок на саночках спервa Родиона, потом Льва, сломавшегося первым. Оба были без сознания, но дышали.

Избушка была прогнившая, но бревна смерзлись, и Антонов к моему приходу выбился из сил. Я велел рубщикам лечь друг на друга и драться, или сношаться, или делать что хотят, но шевелиться, а сам приступился к стене. И нижнее бревно поддалось, а следом и два других. Мы втащили внутрь Родиона и Льва и положили их на подпорки, где обычно лежит лодка. Я прорубил дырку в крыше и ободрал с ближайших елок сушняк — и скоро у нас уже горел костерок, а дым

тонкой белой палкой выходил в дырку в крыше.

Я велел Антонову согреть водку, а потом надавать пентюков этим двоим обморочным и не останавливаться, даже если они вдруг придут в себя и станут возмущаться. А сам ушел за дровами и таскал сухие ветки до тех пор, пока в заснеженной избушке не стало так же тепло, как было в домике Луукаса и Роозы.

— Они увидят дым, — сказал Антонов.

— Возможно. Или унюхают. Но у них и самих костры, а нам без этого не продержаться.

Он кивнул и сказал, что теперь они с Надаром могут сходить за дровами, а я чтобы отдохнул.

Я сказал, что пойду с ними. Мы набрали ельника, накидали его на пол и положили на него Родиона и Льва. Мы положили их к огню и прикрыли одеялами, а сами легли за ними, тесно прижались друг к дружке и постепенно заснули. Но, пробудившись, я обнаружил, что Михаил сидит и следит за костром, вид у него был смущенный, видно, стыдился, что не помогал. Я протянул ему флягу, он сделал глоток и заплакал. Я сделал вид, что не заметил этого, и вышел наружу — серая вата под матовым звездным небом начала редеть, бой на озере затих, но на горизонте я различал в несметном количестве темные

точечки, солдат, лошадей, здесь и там стояли покореженные, сожженные машины, последний бой на Суомуссалми чернел на льду, он походил на застывшую гримасу, нельзя было разобрать ни малейшего движения.

Рядом с избушкой я не увидел никаких следов, только наши, и сперва подумал замести их, а потом сообразил, что если нас кто и найдет, то только финны, а они, скорей всего, просто возьмут нас в плен, — если только не разнесут избушку в щепы сразу, обнаружив дым.

Я притащил дрова, достал немножко еды, мы с Михаилом поели. Постепенно и все проснулись, даже Лев и Родион. Оба соображали с трудом, были не в себе, но Родион тут же потребовал свои туфли, и это быстро переросло в свару между братьями, и Лев сказал, что будет до конца жизни презирать Надара: как он мог бросить его замерзать?

— Какой жизни-то? — хмыкнул Надар.

Антонов переводил, смеясь. Даже Михаил изобразил подобие своей былой куничьей улыбки. Как ни странно, никто не спросил, что мы будем теперь делать. Сам я тоже об этом не заговаривал. Мы жили в теплом коконе. Спали, ели волглый хлеб, который грели в котелке, в этом раю под

миром, под снегом мы провели сутки. А потом Лев отказался идти писать наружу. И брат поддержал его. Антонов сказал, что надо проголосовать. Я ответил, что об этом и речи быть не может: и срать, и ссать мы будем только на улице. Антонов перекинулся парой слов с остальными и сказал торжественно-усталым голосом:

— Мы не вынесем больше холода. Даже я. Мы не будем выходить на улицу.

— Вы хотите лечь здесь и умереть?

— Да, мы уже так решили. И ты ничего не можешь с этим сделать. Мы дошли до последней черты.

Я кивнул в знак того, что уважаю их решение. И присоединился к их мнению, это мудрое решение с одной оговоркой — пусть ходят в какой-нибудь котелок, который я буду выносить, и пусть позволят мне носить дрова, пока хватит сил.

Они долго разговаривали между собой, потом Антонов снова обратился ко мне.

— У нас кончилась еда, — сказал он. — Умирать от голода дольше, чем замерзать. Мы не можем сговориться.

— Что ты хочешь сказать?

Он фыркнул.

— Я не хочу, чтобы ты топил дальше, так все

кончится быстрее. Но эти слабаки хотят, чтобы ты поддерживал огонь, но и умереть быстро они тоже мечтают. Еще мы говорили о том, что ты должен вернуться назад, тебе одному это по силам, но даже и об этом нам не удается договориться.

— А кто что говорит?

Он запнулся.

— По-моему, тебя надо отпустить, но остальные боятся.

— Тогда я останусь, — сказал я и объяснил, что буду костровым и что я должен был понимать, что у них не хватит сил дойти до хутора, нам надо было оставаться в доме Луукаса и Роозы, а теперь мы даже вернуться туда не сможем, и я виноват, нам не надо было уходить из Суомуссалми, я не сделал этого, когда жгли дома, и теперь не следовало.

Антонов положил руку мне на плечо и сказал, чтоб я не думал об этом.

— В городе такой же холод, — усмехнулся он.

Потом заскворчал Михаил, мы положили его к самому огню, но он продолжал бормотать что-то.

— Это он о коте, — сказал Антонов.

— Спроси у Льва и Родиона разрешения, чтобы я осмотрел их раны, — сказал я.

Он попросил меня не тратить времени на их

уговоры. У Льва почернели пальцы на одной ноге, а у Родиона одна нога от колена до пят была сухой и белой, и черные ногти на обеих ногах. Я долго изо всех сил растирал ее, потом забинтовал и пошел принести еще веток для костра. Со всех сторон по-прежнему стояли стеклянные стены заледеневшей тишины, но на озере я увидел свет от фар, а потом услышал звук: масса лошадей, людей, орудий двигалась южнее…

К моему возвращению рубщики уснули. Я подвинул их, подновил костер свежими еловыми ветками и жег их, пока Антонов не раскашлялся. Он проснулся, посмотрел на дым и снова уснул. Я добавил еще веток, потом еще, так всю ночь. Проснулся Михаил, в ясном уме, обнаружил дым, но ничего не сказал. Я жестом попросил его помочь мне передвинуть остальных. Никто из них от этого не проснулся, даже Антонов. Но все дышали спокойно.

Я поманил Михаила с собой на улицу, принести еще дров. Это оказалась плохая идея. Михаилу она была не по силам, мне пришлось вернуть его назад, но на все это ушло много энергии.

— Я хочу есть, — показал он пальцами, пристраиваясь полежать рядом с остальными.

А я остался дальше работать истопником, чув-

ствуя, как что-то нарастает и во мне, и вокруг, как неумолимая хватка, едва ощущавшаяся мною во время разговора с Антоновым в вечер накануне нашего ухода, сжимается, как по моим грезам расплывается белое пятно — это знак того, что и мне не вернуться назад. Но я докончил дело. Конченым я еще не был. Хотя вернулся к остальным, не дождавшись темноты.

Видимо, наступил день. Я подложил в костер свежих веток. И только гораздо позже Антонов спросил, что я задумал. Я не ответил, как будто не понял, он не переспрашивал. Велев рубщикам перелечь по-другому, я попросил Суслова рассказать что-нибудь — он не проронил ни слова с тех пор, как мы поселились в избушке, и сейчас продолжал молчать, несмотря на тычки и пинки Антонова.

— Я не знал, что замерзать насмерть так больно, — сказал Лев.

Антонов ответил, что дело не в холоде, но в голоде. Они переругались, но свара была без страсти и задора и прерывалась долгими паузами — а я все подкладывал и подкладывал в костер свежие ветки.

Около, судя по всему, полуночи я услыхал шум и вылез наружу, на озере мельтешили огни, ма-

шины шли на юг.

Я заполз в избушку и положил в костер самое большое полено, а сверх того еще кучу веток, пламя пыхнуло, опалило стену и зацепило переборки крыши; кашляя, проснулись рубщики, но только братья испугались. Антонов снова спросил, что я задумал, Суслов и Михаил промолчали.

Опалило всю восточную стену и закапало с крыши. Мы отодвинулись от огня и капели и прижались к уцелевшей стене.

— Теперь хоть все быстро закончится, — сказал Антонов.

Все обледенело и горело плохо, хотя дым делался гуще. Но потом бревна просохли и затрещали, занялась крыша, вся целиком, нам пришлось вылезти наружу. Похоже было, что я совершил еще одну глупость. Рубщики таращились круглыми глазами. Я сказал, что нам надо лечь на остатках лапника как можно ближе к кострищу и, по мере того как избушка будет прогорать, сдвигаться.

— А потом все закончится быстро, — сказал я.

И они снова меня послушались.

Я проснулся от тихих голосов, чтобы увидеть вокруг мои леса, пляшущие на теплом летнем ветру деревья, но острая боль прорезала ногу. Рядом с собой я увидел рот Михаила, распухший

язык, парень беззвучно шептал молитву. Вокруг нас в синем свете утра стояло десять, двенадцать человек в белом, все с оружием за спиной. На льду внизу у прогалины урчал грузовик со включенным мотором, окутанный белым облаком собственных выхлопов.

Я сел и увидел, что рубщики лежат полукругом вокруг черного солнца на снегу. Было холодно. Было ужасно холодно. Подошел, скрипя настом, солдат и что-то сказал по-фински. Я ответил.

— Финн? Ты финн?

— Я рубщик дров, — сказал я.

Он улыбнулся в заиндевелую бороду.

— Это я вижу. Стоять можешь?

Нет, этого я не мог, потому что моя нога вмерзла во что-то черное, бывшее теплым.

— А это кто? — спросил он и кивнул на остальных.

— Тоже рубщики дров, — сказал я.

11

Я мало что люблю так, как лениво просыпаться в кровати, из которой не надо вылезать, и думать про деревья, которые я срубил или, Бог даст, еще срублю, они стоят и ждут, уже помеченные мной, и светятся, наполняя меня нетерпеливым предвкушением. Но сильнее всего меня смущают те мириады деревьев, которые я никогда не срублю, а оставлю стоять, все не охваченное мною, тот лес, который окружает меня со всех сторон, по которому я мечусь, как бешеный зверь, не видя выхода, это все равно что топтаться перед закрытой дверью, искать и не находить на ней своего имени — тогда я просыпаюсь в поту, изнемогая от удушья, и дыхание не возвращается, пока я не увижу неба. Но сейчас разбудил меня скрежет гусениц, звяканье железных цепей и рев моторов, зато не слышно было ни криков, ни выстрелов, а человека, сидящего рядом со мной на раскладном стуле и коротавшего время за папироской, я видел раньше; он написал что-то на бумажке, недовольно поморщился, перечитав, обнаружил, что я проснулся, скомкал написанное и сунул

бумажку в карман.

— Ну, — говорит он. — Вот и ты.

— А что пишешь? — спрашиваю я, с трудом ворочая липнущим к зубам языком.

— Ничего, — грубо отвечает он и выуживает новую сигарету. — Ты меня узнаешь?

Да, я его узнаю, вид у него более выспавшийся, но беспокойство и раздражение по-прежнему зудят в нем, как подкожный гнус, — это лейтенант Олли, сжегший город. Я лежу на походной кровати, а она стоит на сухой, утрамбованной земле в палатке с черными печными трубами, они вздымаются над брезентом, как волны над небольшой армадой лежанок, больных и санитаров, и кругом пахнет Финляндией, финским духом, финским бензином, мылом, сигаретным дымом, маслом, едой… А на мне сухая и чистая финская одежда.

— Где я?

— В Суомуссалми. Тебя допросят, как только ты оклемаешься. Хотя, по-моему, лучше бы нам с тобой… Я не думал когда-нибудь свидеться с тобой снова, честно.

— Допросят?

Он щурится равнодушно.

— Я не знаю, но они хотят разобраться, почему

русские тебя не убили.

— Да какая им от меня опасность?

— Тогда их может заинтересовать, какая им была от тебя польза.

Он произносит фразу со значением, помолчав, продолжает:

— Вот я и думаю, что нам с тобой стоит обсудить кое-что заранее. Ты расскажешь мне, что ты делал эти недели, ну и как ты оказался у озера вместе с русскими солдатами. Курить хочешь?

Я поблагодарил, отказался и закрыл глаза.

— Они не солдаты, — говорю я. Но он никак не реагирует на мои слова, курит. — Что с моими ногами? — спрашиваю я, потому что не чувствую их.

— Им пришлось убрать пару пальцев на левой ноге, но ты этого не заметишь, не переживай. Твои русские друзья все живы, но отказываются говорить, глупо с их стороны, но будем надеяться, они немало хлебнули. Здесь у вас был сущий ад, да?

Я открываю глаза.

— У тебя зеркало есть?

Похоже, он ждал этой просьбы. В поднесенном к самому моему носу карманном зеркальце я вижу, что две рваные раны вдоль левой щеки

зашиты, и стежки напоминают черных муравьев, нос по-прежнему скособочен, он синий и распухший, а края разодранной верхней губы скреплены чем-то вроде английской булавки. Я провожу пальцем по муравьиной тропе.

— Неплохо, — усмехается Олли. — Нос разбит, скула разбита. Тебя били?

— Да.

— За что?

— Я… — осторожничаю я, не успев сообразить почему. Вообще-то я в таких ситуациях всегда без обиняков выкладываю первое, что придет в голову. — Я не хотел сотрудничать.

— А что ты делал?

— Рубил дрова.

Он закатывает глаза.

— Отчизна ведет свою самую тяжелую войну, а ты рубишь дрова неприятелю?

— У меня не было выбора.

— Вот как. А где ты жил? Ты был пленником?

Я рассказываю все вперемежку, как приходит на ум, разыгрывая слабость гораздо большую, чем ощущаю на самом деле, и когда я наконец завершаю, вернее, изображаю заодно, что вот-вот потеряю от напряжения сознание, он тушит сигарету, пару раз говорит «так, так» и бормочет,

словно опасаясь быть услышанным с соседних коек:

— Думаю, я выпущу, что ты переводил для них донесения, вся дивизия мертва, никто ничего не расскажет… Закурить точно не хочешь?

Я, не открывая глаз, еще раз говорю «нет», он поднимается, топчется рядом с койкой в своих скрипучих сапогах, потом уходит. Почувствовав себя безнадзорным, я приоткрываю глаза в надежде оглянуться по сторонам, а он стоит тут по-прежнему и радуется, что поймал меня с поличным.

— Воды! — в панике кричу я, и после долгого ожидания появляется сестричка с водой и спрашивает, как я себя чувствую, и мне приходится выхлебать гораздо больше, чем мне хочется, пока наконец Олли не задает-таки своего главного вопроса:

— Ты остался в городе добровольно, тут у нас с тобой ясность?

Я киваю.

— Ничто не может заставить меня уехать отсюда. Даже ты.

Я изобразил улыбку. Он обдумал мои слова, закурил, встал и ушел.

Уже на следующий день я снова на ногах, сы-

тый, отдохнувший, согревшийся, лицо еще болит, но его мажут и перебинтовывают и утром, и вечером, а потеря двух пальцев на левой ноге — чистейшая ерунда, скорее уж уместно спросить, для чего я с ними родился.

На мне новые сапоги и новая, теплая одежда. Но далеко я не ухожу. Брожу по палатке, занимаю беседой раненых, это все солдаты, обмороженные или подстреленные, они стонут и во сне, и когда не спят, они просят сигарет, таблеток от боли, выпить… И я слушаю про сражения и батальоны, людей и полки, героев, победы и катастрофы.

Но тех, кого я ищу, рубщиков, нигде нет, — и никто не может ничего мне о них рассказать; добравшись через череду коротких снов до третьего дня, я выбираюсь на взрывчатый холод, и меня берет оторопь, потому что все стихло в стертом в труху городе, разрушенном теперь наново, солдаты, техника, финны в маскхалатах, будничное тарахтение мотора, так скромно и мило рокотавшего тут, пока огонь не разодрал все в клочья, войны не видно даже на горизонте, ее снесло на восток, на четыре, пять, шесть… километров прочь, туда, где завяз спасательный корпус русских, многокилометровый змей, протянувшийся от Советского Союза до брюха Финляндии, и,

запертый в узкий коридор, зажатый железом, бревнами и льдом, он не может ни отползти назад, ни развернуться, и ему остается только ждать пока его порубают на части и прикончат так же методично, как дивизию Илюшина на льду Киантаярви, этого гиблого озера, которое отныне будет отдавать той тишиной, какая встречается только на погостах без креста, моего озера, целиком видного мне с того места под небесным сводом, где я сейчас стою, перепаханного следами вдоль и поперек, словно на него уронили огромную черную решетку, но во мне уже ничего не осталось, никаких сил, мне надо назад, в койку и в сон.

Но дни идут, и вылазки мои становятся длиннее, я проведываю магазин Антти; он по-прежнему цел, но занят финскими солдатами, с которыми я поздоровался и тут же попросил их поддерживать порядок, и вымытый дом бабки Пабшу, теперь штаб и столовая одновременно, из окон и дверей которого идет пар и расползаются запахи свежеиспеченного хлеба, березовых дров и мясного супа, который я ел с детства и который ароматнее жирного молока Марии-Лиизы Лампинен.

А вот про моих русских товарищей ни слуху ни духу и дела никому нет, наконец мне рассказывают о лагере для пленных, это в Хулконниеми,

но туда мне пока не дойти, а выспрашивать и выискивать до бесконечности я тоже не могу, но вдруг, по дороге к себе в лазарет, мне встречается человек, которого я не чаял увидеть вновь, — толмач Николай. Он стоит и беседует с финским офицером ровно так, как он делал на моих глазах раньше, пока не рухнул его русский проект, — как свой здесь. Хотя это не так. И я решаю держаться от него подальше.

Но как бы не так! Мы сталкиваемся снова уже на следующий день, и выясняется, что Николай и сам меня знать не желает; мы обходим друг дружку стороной, отвернувшись, это обоюдная стратегия, наш молчаливый сговор, он продолжает беседу с финским офицером, я ковыляю себе дальше, туда, куда меня все время тянуло, но не было сил дойти, в дом Луукаса и Роозы, и с болью вижу, что его разбило прямым попаданием, ровно в кухню, наверняка всего через несколько часов после нашего ухода.

Я вхожу в дом, берусь за насос и чувствую, что его лучше не шевелить, в доме не осталось ни целой чашки в шкафу, ни стула, ни блюдца, часы висят на честном слове, стекло разбито, большая стрелка замерла между двумя и тремя. Я озираюсь в поисках Микки и не нахожу его, и дом без

него кажется еще более разрушенным.

Но я обхожу остальные комнаты, кровати стоят в том виде, в каком мы их оставили, жалкое зрелище, особенно потому, что я не могу вспомнить, что мы себе думали, когда убегали из дома и считали, что прорвемся. Мне нужно сесть. Я сажусь на двуспальную кровать Луукаса и Роозы, в которой спали Суслов и Михаил, и замечаю на столике очешник, руки мои открывают его, а там бумажка с несколькими непонятными словами по-русски, я разбираю слово «спасибо» и подпись: Александр Суслов, и уже не могу встать, а откидываюсь на грязные подушки и натягиваю на себя ледяное одеяло и чувствую запах, от которого в голове у меня рождается вопрос: почему человек не осознает, какая он развалина, пока процесс разрушения продолжается, почему человек считает себя живым даже почти за гранью смерти; я сам из силача превратился в такого слабака, что с трудом дохожу из лазарета какие-то сотни метров сюда, где я теперь валяюсь с закрытыми глазами, сжимая в руке очешник, небольшой предмет, совершенно меня доконавший, опрокинувший на лопатки, что тоже нужно, хотя и требует времени, особенно много уходит его на сны.

Когда я сумел встать, я уже согрелся, был теп-

лый, и разрушения на кухне не показались мне такими трагическими — нужно сделать новую стену, от обшивки остались щепы, на дверях нет филенки, хлопающие рамы на почти вырванных петлях, а еще починить стол и стулья, вставить новые стекла, и вон из половиц торчат один к одному гвозди, как железная трава. Я отыскиваю в куче инструмента на улице пассатижи и выдергиваю гвозди, потом прибираюсь, выкидываю то, что уже не починишь, в том числе стул, на котором я провел столько часов, и, по-моему, становится лучше, чем было, словно начало новой жизни.

Другие комнаты пострадали меньше, крыша цела по всему дому, и печи тоже. Напоследок я беру в руки молоток и прибиваю на место половицы в прихожей, а в голове складывается план, не думаю, чтобы хоть один день в жизни у меня не было плана, всякий человек как проснется, непременно должен знать, что делать, но мне придется включить в свой план и этого несносного толмача.

12

Пошли разговоры о том, что как только дорога на восток откроется, раненых эвакуируют, если будет транспорт, он ходил челноком вдоль всего неспокойного фронта, и я лежал и думал об этом, не спалось, посреди ночи я встал, сложил одежду в мешок, крадучись выбрался из лазарета и задолго до рассвета уже разбирал на материал наполовину сгоревший хлев Луукаса, добывая вагонку, доски, струганые панели, которыми он обшил свой хлев. Вооружившись попорченным огнем инструментом, я отчаянно взялся за внешнюю стену кухни. И на это тоже никто внимания не обратил. Но к полудню я проголодался и вернулся в лазарет — здесь мое отсутствие давно заметили. Я успокоил их, сказав, что здоров и бодр, сестрички сердито твердили, что ничего подобного, зато я получил какой хотел еды, медленно, на русский манер, поел, потом дал себя перевязать, но сделал вид, что не слышу причитаний сестер, желавших немедленно уложить меня в постель.

К вечеру я утеплил всю наружную стену и

перешел к обшивке внутри, дело шло не без трудностей, получалось слишком много швов и латок, некрасиво. Ночью я затопил печь: сквозь трещину в трубе пополз дым, и я собрался в хлев за варом, замазать ее, как тут за мной пришли рядовой с ружьем и санитар, который последним обрабатывал мои раны.

Мне пришлось вернуться в лазарет и даже улечься в койку, но вот досада: солдат притащил стул и уселся рядом, положив ружье на колени. Ему было не больше двадцати лет, но он успел уже обзавестись фронтовым высокомерием, как и многие солдаты. Я спросил, как его зовут и откуда он родом. Он не сразу снизошел до ответа, его больше волновало неуклонное исполнение приказа, предписывавшего тихо тут сидеть и охранять существо, ни в какой мере его не интересовавшее, — главное, чтобы в лазарете сохранялся восстановленный порядок.

Сначала я лежал и пытался состряпать план побега, но под одеялом было тепло, вокруг никто не кричал, на соседних кроватях покой и дрема, и я вскоре заснул.

Открыв глаза, я увидел Олли.

— Мы уезжаем, — сказал он с довольной ухмылкой, выпуская носом дым.

— Я останусь, — ответил я. — У меня есть разрешение.

Его улыбка стала шире.

— От кого разрешение?

— От старшего лейтенанта Мякиниеми, — выговорил я имя, подслушанное мною в последние дни; насколько я понял, он был известен всем как герой, и его имя должно было действовать на людей.

Но не на Олли, как оказалось.

— Ты сидеть можешь? — спросил он.

— Я могу ходить, — сказал я. — И бегать.

— Отлично! — сказал Олли. — Тогда пойдешь со мной. Одевайся. Немедленно!

Я послушно надел на себя всю верхнюю одежду, которую они мне выдали, и рядовой проводил меня к машине, открытому джипу. К моему изумлению, Олли сидел за рулем, а мне велел устраиваться рядом.

— Разве меня не будут допрашивать? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Залазь.

— Я из Суомуссалми не еду, — ответил я, не трогаясь с места. — Я и раньше это говорил, и повторю.

— Иди сюда, — сказал Олли. Он не шутил. —

Или ты хочешь, чтобы тебя везли с пленными?

Я влез в машину.

Но движение было очень плотным и медленным, и когда мы проезжали командный пункт, который финны устроили бок о бок с бывшим штабом русских, я увидел группу офицеров, они пили кофе, стоя у полевой кухни. Я выпрыгнул из машины, подбежал к ним, встал перед офицером, показавшимся мне старшим по званию, и, как сумел, отдал ему честь. И тут только я увидел, что передо мной полковник, и не абы какой, было мне сообщено, а полковник Ялмар Сииласвуо, командующий этим самым успешным за всю тысячелетнюю историю Финляндии участком фронта.

— Я прошу у полковника дозволения остаться в Суомуссалми! — прокричал я. — Я здесь родился и все равно не уеду.

Длительное общение с более важными, чем я, людьми научило меня вот чему: если хочешь им что-то сказать, смотри им прямо в глаза и говори, лучше два раза, и жди, не отводи взгляда, тогда они, возможно, услышат тебя.

— Я рубщик дров, — продолжал я. — А твоей армии нужны дрова, много дров.

Вокруг нас стало мертвенно тихо. Все взгля-

ды были устремлены на нас, включая и глаза Олли, который припарковал машину и теперь топтался рядом со мной, но я смотрел только на полковника.

— Дрова? — переспросил полковник таким тоном, словно речь шла о мираже.

— Так точно, дрова, — сказал я. — Без них даже полковник не сумеет выиграть войну. А я могу каждый день выдавать несколько вязанок, уже наколотых. А если надо мной не будет начальников, я смогу еще…

Он остановил меня легким движением руки.

— Что стряслось с твоим лицом?

— Я был в плену, и меня побил русский офицер.

— За что?

— Ему не понравилась моя морда.

У меня есть подозрение, что это был один-единственный раз за время всей кампании, когда полковник позволил себе улыбку, правда, мимолетную и хилую, скорее от боли, чем от веселья. Один из штабных офицеров наклонился к полковнику и шепнул ему что-то на ухо. Сииласвуо кивнул едва заметно, мельком взглянул на меня еще раз и, ни слова не сказав, повернулся ко мне спиной, возвращаясь к прерванной моим втор-

жением беседе.

Я молча переводил вопрошающий взгляд с Олли на штабиста, оба лишь пожимали плечами, нет, они не увиливали от ответа, а просто его не знали, но потом Олли закурил, и я впервые увидел в его лице необходимую мне мельчайшую толику покорности.

— Тебе есть где жить? — спросил он, когда мы возвращались к джипу. — В лазарете ты оставаться не можешь. Ты недостаточно…

— Да, — перебил его я.

Он остановился, достал из кармана бумажку, написал на ней что-то огрызком карандаша и протянул мне.

— Передай ему от меня привет и скажи, чтобы он дал тебе самую тяжелую работу, какую ты сможешь выдержать. И уже раз в жизни сделай, как я прошу, а то мы никогда не разберемся.

— Как когда город горел, — сказал я и, не дав ему времени додуматься до чего получше, похромал в сторону хоздвора, обустройство которого заканчивалось недалеко от города, где я поступил под командование Харри Миеттинен, огромного, вечно хандрящего и ехидного громилы из числа офицеров запаса, по причине негодности к службе на передовой назначенного снабжать лазарет,

командование и войско провиантом, амуницией и заодно дровами, с каковой задачей он намеревался справиться не менее убедительно, чем Сииласвуо с военными действиями.

Мы с ним подружились сразу — едва только я попросил дать мне самую тяжелую работу, какую я только смогу выдержать, и он еще больше проникся ко мне, когда уже к вечеру ему стало ясно, что я работал за двоих из всех доставшихся ему рубщиков, из которых он старательно выжимал все до последней капли — нет, это не концлагерь; но войну никто не отменял; целая танковая дивизия стоит там и ждет…

Вероятность того, что русским удастся переломить катастрофический для них ход кампании, как им, похоже, удалось в Карелии, здесь даже не рассматривалась, мы были в Суомуссалми, прокопченном чудо-городе, моем городе.

— Смотрите на идиота! — кричал он, показывая на меня. — Смотрите и учитесь!

13

Мне казалось, силы ко мне почти вернулись. И всего за пару дней Миеттинен утерял ко мне интерес, — во всяком случае, его не волновало, чем я занимаюсь в то время, когда, по его разумению, я должен был спать.

Для начала я взял медную плошку и с помощью глины и вара заделал в печной трубе щель и затопил обе печки, потом взялся за хозяйство, и через несколько часов в трубах забулькала вода. Я приделал к насосу новую ручку, выстучал молотком две погнутые кастрюли, отмыл спальню и гостиную, потом выстирал постельное белье и развесил его в кухне сушиться; теперь я мог мести пол, идя меж рядов белого, приятно пахнущего полотна и что-то напевая себе под нос, как пастор, или крестьянка, или кто там еще мурлычет во время работы себе под нос, часовщики, наверно, в общем, люди, у которых спокойная, требующая точности и терпения работа. Потом я переместился в гостиную, оттуда на лестницу и все хлопотал и хлопотал, так что простыни уже успели высохнуть, но наконец забрался в кро-

вать, чище и теплее которой не было в ту ночь на всем фронте, в кровать Маркку, уже месяц как павшего на Перешейке.

На следующий день я честно признался Миеттинену, что у меня в городе дом, и спросил, не возражает ли он против того, чтобы я там жил. Он был не против. Не знаю почему, но этого оказалось достаточно, у меня было вдоволь еды, необходимая одежда, раны срослись, среди осколков гранаты на полу в кухне я нашел большую стрелку от часов, приделал ее на место медной проволочкой и завел часы в полночь по моим расчетам. На другой день я обнаружил, что мои часы спешат на полчаса, и открутил стрелку назад, только и всего, теперь и я тоже больше не верил, что вся эта авантюра обернется для русских чем-то иным, кроме их собственного падения.

Я переставил две двери из пристройки в тамбур, заменил несколько половиц на кухне, починил шкафы, получилось отлично, вот только стены никуда не годились, а мысль отодрать обшивку в каком-нибудь из оставшихся домов я оставил еще раньше.

Меня все невозможнее раздражало, что прекрасный дом Луукаса и Роозы стоит разоренный, убитый, а дни идут. К тому же мне нужно было

оконное стекло, пустые темные рамы были заткнуты тряпками, но где возьмешь целые стекла в городе, который сровняли с землей?

Для начала я вынул шесть маленьких стеклышек из слуховых окошек в задней стене пристройки. Потом вытащил два уцелевших стекла из фрамуги в фундаменте. Сделал новые поперечины, замазки не было, поэтому я приладил стекла дегтем и гвоздями, и теперь у меня появился дневной свет, сколько уж день ни длился, и в тот первый вечер, когда я пил на кухне кофе и смотрел на снег, сыпавший, как сухой песок, по новому окну, вернее, половине окна, составленному из восьми маленьких стеклышек, отмытых и ясных как день, я думал о рубщиках и об Антонове, который спросил меня перед тем, как мы потеряли друг друга:

— Почему ты для нас стараешься?

Я ждал этого вопроса и даже хотел, чтобы мне его задали, а я бы смог ответить, что ничего особенного не делаю, но когда Антонов спросил, я растерялся и не ответил, вернее, уклонился от ответа, потеряв сознание.

Теперь я вышел на улицу, где свежий снег припорошил черноту, как сахарная пудра. Я ожидал увидеть что-нибудь, и точно — на снегу отпеча-

тались кошачьи следы, по ним я нашел за домом Микки, он лежал на поленнице и вылизывал свои лапки, в серой шерстке искрился снег, кот замер и посмотрел прямо на меня прищуренными узкими глазами, потом спрыгнул на землю и пошел за мной в дом. Я отдал ему остатки еды и плеснул чуточку молока, сел на стул у печи и стал смотреть, как он ест. Наевшись досыта, Микки запрыгнул ко мне на колени, устроился поудобнее и замурлыкал.

Луна выгнулась на небе, как дно колодца. А я шел под ней внизу. Шел по своему родному холодному городу, думал о русских рубщиках и в очередной раз спрашивал себя, а были ли они на самом деле, да и вообще — было ли что-нибудь когда-нибудь, и вдруг вижу: у одного из домов, в которых по приказу Николая топили печи, стоит грузовик. Три пожилых человека в штатском курили, сидя на крыльце, а четвертый пихал к двери ящик. Я замер — штатские?! Мне показалось, я узнал двоих, это были жители Суомуссалми, поэтому я подошел, поздоровался и спросил, что они тут делают.

— Я рубщик дров, — сказал один, машинально изобразив улыбку, без которой до войны в городе ничего не обходилось.

— Мы здесь живем, — добавил второй.

— Вы вернулись? — спросил я.

— Да, — ответило высокое, сутулое создание с болотно-коричневой бородой и седыми волосами. Он встал, вроде главный здесь, и с прищуром смотрел на меня блестящими глазами. — А ты?

Вопрос прозвучал с глухой угрозой.

— Я не уезжал отсюда.

Ответ показался им забавным.

Я рассказал, где живу, и указал на дом Луукаса и Роозы. Бородатый кивнул на развалины вокруг и сказал, что это был — и будет скоро снова — дом его приятеля, что они четверо соседей, которым удалось прорваться сквозь оцепление, потому что все, им осточертела эта война, и они жалеют, что кинули тогда свои дома — надо было остаться самим и сохранить их.

— Это было бы нелегко, — сказал я. Мои слова не показались им забавными.

— Значит, ты был тут все время? — спросил человек с болотисто-коричневой бородой и слезящимися глазами.

— Да, — повторил я.

Они переглянулись и засмеялись тем смешочком, который я так хорошо знал и по которому ни секунды не тосковал все то время, что не слышал

его за спиной.

— Надеюсь, ты уважил русских по полной, ха-ха…

Еще одно свинцовое грузило оттянуло душу.

— Я одолжил у тебя часы, — сказал я человеку с ящиком, чтобы прекратить это. — Если хочешь, могу немедленно вернуть.

И легонько застучала кровь в висках, так всегда бывает, если на тебя кто-то глазеет.

— Часы? — переспросил он медленно.

Я пошел впереди него в дом, его собственный дом, изуродованный до неузнаваемости солдатами, которые, очевидно, спали в гостиной и на кухне; там и там на полу лежали грязные, драные, до хруста смерзшиеся одеяла, водопроводные краны полопались, и ледяной нарост накрыл мойку и половину кухонной мебели; этот зеленый ледяной валун жадно выпростал два ненасытных языка в сторону входной двери и подпола, дверцы шкафов и обшивка стен были ободраны и истоплены, чашки и стаканы побиты, печь расколота, и гостиная выглядела ничуть не лучше.

— Вот здесь, — сказал я, показывая на стену над чем-то, напоминавшим разложившуюся тушу, видимо диваном, а старик стоял рядом, со

слезами постигая, что может случиться с домом, оставленным на произвол войны. — Вот здесь висели часы, — сказал я. — Я их спас. Вернуть тебе их?

На этот раз старику хотя бы удалось обойтись без того смешочка, по которому я не тосковал.

— Часы, — пробормотал он. — Они были старинные.

— Сейчас принесу, — сказал я, пошел в дом Луукаса и Роозы, снял часы с того места, которое они занимали как-никак целый месяц, отнес их назад, туда, где они шли лет пятьдесят или сто и где непременно вышли бы в расход, если б не я.

Старики смотрели на меня квадратными глазами.

— Ты их потырил? — спросил вдруг бородатый, их главный и самый из всех дурак, который поэтому говорил вслух то, что у остальных хватало ума думать про себя.

— Нет, — ответил я и повесил часы на крюк. — Мне нужны были часы, и я взял их взаймы, а теперь вернул.

Не дав им времени переварить свои трухлявые подозрения, я повернулся и пошел домой, ночь не спал, а утром явился на хоздвор и попросил Миеттинена поселить меня здесь с остальными,

потому что мне нельзя дольше оставаться в доме Луукаса и Роозы. Почему? Потому, что четверо стариков вернулись назад, а от их домов остались руины, и эти старики сначала не верили, что я просто отказался уезжать из города, а теперь у них новая идея — они жаждут увериться, что я воспользовался их отсутствием и обчистил их дома, в общем, опять все то же самое, что всегда существовало здесь и чего я никогда не мог терпеть, эти глупые обвинения, которые просто противоречат друг другу, но тем не менее не отмирают, та тьма, в которой многие из нас бродят от самого рождения, но заглядывать в которую нам не дано научиться никогда, потому что мы смотрим сквозь пелену слез на глазах, и вот только тогда, стоя грешником перед Миеттиненом, я наконец осознал, почему я не дал Олли и его солдатам эвакуировать меня, я просто сделал то, чего от меня ждали, выказал себя таким, каким меня всегда воспринимали, оказался тем, кто не уезжает, когда все остальные делают так, как сказал им бородатый и его приятели-соседи, это была та тьма, в которую я раньше никогда не заглядывал, и свет ничем не мог тут помочь, потому как что это будет за такое мирное время, повторение прошлого, да?

Но у Миеттинена меня ожидало новое потрясение, там появилось четверо русских пленных и среди них мой друг Антонов, невысокий коренастый крестьянин из Карелии, он стоял в новой финской одежде и сапогах, в одной руке держал топор, в другой колун, но на обеих были варежки размером с медвежью лапу, и смотрел он никуда, что могло означать только, что мы незнакомы друг с другом, когда рядом Миеттинен. Поэтому я повернулся к нашему командиру и спросил:

— А это кто?

— Русские. Можешь гонять их в хвост и в гриву, они на вид выносливые.

— Военнопленных нельзя заставлять работать, — сказал я.

— Правда, что ль? — удивился Миеттинен. — Ну, сам у них спроси.

Только я собрался открыть рот, как начальник хоздвора опередил меня и спросил Антонова по-фински:

— Работать хотите?

Антонов сделал вид, что только сейчас понял, о чем речь, и несколько раз решительно кивнул.

— Доволен? — сказал Миеттинен мне. Мне было все равно. Но зато теперь он по крайней мере в курсе, что я знаю, что пленные не должны

работать, если только их не принудят к этому, нарушив закон.

Работа была та же самая, но все было по-другому: в нас никто не стрелял, мы спокойно перемещались по большой территории, валили без спешки и страха деревья, а потом вывозили их на лошадях, которые уверенно ступали по заснеженным просекам, как и положено коням.

Антонов легко держал общий темп, а вот три его товарища выбивались из сил. Но, однако, прошел почти весь день, прежде чем нам — уже в сумерках — удалось остаться наедине, мы обнялись, он снова назвал меня ангелом, жизнью и надеждой и никак не отпускал, пока я его не отпихнул. Говорил он опять так же непонятно, как в первые дни, но постепенно финские слова стали возвращаться, и он рассказал, что и все остальные рубщики выжили, больше всех пострадали братья, им ампутировали пальцы на руках и ногах и держали в лазарете до позавчерашнего дня. Родиона увез подобравший нас взвод, их позабавило, что он таскает с собой туфли, и они взяли его с собой на передовую, он у них вроде талисмана, готовит еду, варит кофе, таскает саночки с продовольствием и амуницией, он тоже сыт и тепло одет.

— А Михаил?

Михаил больше недели молчал, потом стал что-то бубнить не по-русски и не по-фински, все уже решили, что он сбрендил. Но все проходит, и даже самая длинная ночь сменяется утром, так и Михаил снова стал прежним и теперь ставит столбы для забора вокруг лагеря в Хулконниеми.

— А учитель? Опять слепой?

— Да. А поскольку такой он ни к чему не годен, то очень мерзнет, хотя и одет хорошо, и может в палатке быть.

Я задумался.

— Скажи ему, пусть попросится у охранника на работу, с тобой вместе, пусть скажет, что умеет только одно — рубить дрова, что он рубщик.

Антонов кивнул с серьезным видом, вроде как обдумывая мои слова. Но думал он о другом.

— Я должен тебе сказать, — произнес он и застопорился.

— Что? — спросил я.

— Сказать тебе спасибо, — выговорил он серьезно, вынул правую руку из рукавицы и протянул мне, мы пожали друг другу руки, переглянулись, и тут я понял, что этот человек готов даже умереть ради меня, раньше никто так ко мне не относился, только родители, но этого я не помнил, а

теперь наши с Антоновым отношения настолько изменились, что это было почти невыносимо, я не просто чувствовал его до самого донышка, но мы словно бы стали единым целым, и мне плевать было, что я финн, а он русский, и что сейчас не мирное время, и что на войне так думать не полагается.

Миеттинен крикнул, что на сегодня хватит, Антонова и остальных пленных конвой забрал в лагерь. Мы с Миеттиненом пошли домой, и по дороге я сказал, что хотел бы все равно жить в городе, если он не возражает. Он смерил меня взглядом и сказал, что ему все едино, лишь бы я работал нормально. Я поблагодарил его, записал на свой счет еще один пристальный взгляд и пошел домой через приют лесосплавщиков, где я нашел кофе, когда горел город. Здесь я взял чашки и шесть тарелок и без зазрения совести вынул из подвального окна шесть стеклышек.

Когда я пересекал двор бывшей школы, в доме с часами за заиндевевшими окнами пыхнул желтый всполох, из трубы поднимался дым, и я понял, что мне надо туда, надо раз и навсегда, это был не расчет, а порыв, который овладевает человеком, когда неуловимая улыбка играет внутри, это все встреча с Антоновым, это она сделала

меня сильным.

Я постучал и вошел, старики сидели на кухне и пили чай из стаканчиков, которые они грели на раскаленной печке, кран был уже починен, ледяной нарост превратился в мокрый, отдраенный пол.

Тут я понял, что мне нечего сказать, и замолчал, потом спросил, есть ли у них дрова. Да, дров у них достаточно, это все? Такого ответа я и ждал. Потому что я вспомнил этого типа с болотно-коричневой бородой, он был из тех, кто тянут с расплатой до последнего, кто с таким трудом вынимает из кармана кошелек, как будто он весит столько, что обычному человеку поднять его не под силу, потом он вынимал монетки и бумажки, клал их в две ладони, взвешивал, складывал назад, доставал снова и в конце концов отдавал с таким видом, словно его крупно надули: он был скряга.

— Наконец я тебя узнал, — сказал я. — Ты должен мне деньги.

— Что?

— Я продал тебе прошлой зимой дрова, а ты со мной не рассчитался.

Я не уходил. И поскольку он не отвечал, то и остальные стали коситься на него, сначала в

ожидании, потом уже не злясь — сочувствуя мне. Но я понимал, что он не может долго так стоять, не оправдываясь, поэтому я сам сказал, что это не к спеху, повернулся и пошел домой к своему коту, уселся в кухне и стал прикидывать, где бы мне достать еще стеклышек, это правда, что у меня есть такой дар: не думать о том, о чем мне не хочется думать.

На следующее утро мы уж вовсю махали топорами, когда конвой привел русских пленных, и среди них был не только Антонов, но и Михаил, учитель Суслов и братья-киевляне. Увидев меня, Михаил растрогался не меньше Антонова, а Суслов заплакал, услышав мой голос, и обернулся, и уж совсем разрыдался, когда я улучил момент и незаметно сунул ему очки Роозы, которые он немедленно нацепил на нос с каким-то малодушным торжеством.

Надар и Лев держались натянуто и смущенно, даже когда мы оставались втроем, словно судьба свела их с родственником, которому они на предыдущей развилке судьбы задолжали денег. Но мы не успели перебросится даже парой фраз, к нам враскачку подошел Миеттинен, он хотел отослать их назад в лагерь, потому что они хромали, теперь с ампутированными пальцами

сильнее прежнего.

Я хотел было вмешаться, сказать, что они горазды работать как мало кто, но они сами сцепились с Миеттиненом, да так яростно, что он спросил Антонова, к чему весь этот крик.

Тот коротко подытожил: эти двое здоровы как медведи, а от безделья могут сдохнуть. Начальник хоздвора сказал на это, что пусть тогда пеняют на себя — у них, у доходяг, есть один день показать все, на что они способны. Здесь не курорт, война не закончена, она только начинается…

Теперь нас стало так много, что нас поделили на две группы. Мне поручили командовать одной, кроме моих старых рубщиков в нее еще записали финна средних лет, с которым мы сразу поладили, его звали Хейкки, и он крестьянствовал на хуторе у границы, который он вынужденно покинул и теперь страдал — как-то там его хутор в грязных лапах этих русских.

— Не люблю я русских, — повторял он, и это было в основном все, что мы от него слышали. На пленных он не смотрел, точно их и не было вовсе. С тех пор как умерла его жена, а дети разлетелись, он жил один, так прошла большая часть его жизни. Этот невысокий, крепко сбитый, выносливый мужичок, лошадник, сызмальства был пахарем

и погонщиком.

Мы едва почали этот январский сине-холодный день, как братья оказались за нами с Антоновым и с места в карьер начали просить прощения за то, что сорвали нам весь побег. Я заверил их, что в этой дурацкой истории нет никакой их вины, это я сглупил, я-то, в отличие от них, знал, что такое холод, нам, конечно, не надо было уходить из дома. Мои слова смутили и возмутили Антонова, он шуганул братьев прочь, и не подумав ничего перевести.

— Идиоты, — пробормотал он. — Евреи.

Я приладил всех к работе.

Но и она сама, и весь этот день были так далеки от войны, которую мы едва слышали, что постепенно он уже казался совершенно обычным для этих краев рабочим днем, я стал забываться — остановлюсь послушать фронт, вдруг оглянусь и замечу Михаила и Суслова, беззаботно вышагивавших по снегу среди моря веток, Хейкки, дергавшего поводья и покрикивавшего на коней, чтоб держать их в строгости. Мы обрубали сухие нижние ветки, не вмерзшие в землю, и месили ногами бело-золотую опилочную пыль, похожую на истолченный пчелиный воск, и гулко перекликались два топора, решившие помериться

силой, и звонко вторила им матовая песня пил, и кололись на сухие полешки чурбаны, и стлался дым такой же светлый, как костер, вокруг которого мы сидели за едой… Но меня поразила мысль, что хотя все было так, как и должно было быть, но все происходило как раз вопреки, что-то было упразднено, изъято могущественной рукой, не хватало стены, всего в нескольких километрах от нас происходило чудовищное членовредительство, а мы не слышали его, мы делали вдох, мы задерживали дыхание — и так проходили дни, катились вдоль недостающей стены, холодные и ясные, как капли тишины, медленный поезд из конца в конец времени, которое стояло бы вообще на месте, если б не редкие и короткие вспышки Миеттинена, не тихий разговор Хейкки с лошадьми, не горячая еда, не загрубевшие руки, больше не мерзшие, не дым, не смола, не тело, наливавшееся силой, неделя, вторая, еще одна…

Но братья-киевляне все время занимались чем-то, остальные русские не желали говорить с ними об этом, а Антонов отказывался объяснять мне. А потом однажды вечером Суслов рассказал у костра историю, над которой все заржали, включая и Антонова, и пока гремел смех, крестьянин наклонился ко мне и прошептал, что братья хотят

поговорить со мной. Я спросил — о чем.

Он покосился на Хейкки, который сидел уставившись в огонь и думал о своем хуторе. Я сказал, что при нем можно говорить.

— Ходят разговоры, что скоро нас отправят домой, обменяют на пленных финнов.

— И?

— Но что, как только мы окажемся дома, нас расстреляют.

— Так вам и надо, — вдруг засмеялся Хейкки, широко разевая беззубую пасть, которой никто из нас еще не видел. — Вы звери, — продолжал он, как если бы говорил сам с собою. Антонов не реагировал. — Хотя есть и хорошие звери. Вот эти лошади, например, они хорошие, и вы тоже бываете хорошие, да, да, — кивнул он, — черт его дери.

— Я в это не верю… — сказал я.

— А эти идиоты заладили свое и талдычат это все время. А я хочу домой, если выживу. Мне не нравится здесь ни страна, ни война, ни финны эти, ни холод.

Хейкки посмотрел на него, похлопал рукавицами и улыбнулся. На миг я испугался, что сейчас русский озвереет.

— У тебя есть на это право, — сказал я.

Да, но вот это и не вписывалось в наши дни, так надежно сменявшие один другой, недостающая стена, наговоры братьев, поэтому я вызвал их на разговор и сказал, чтобы они перестали, такие разговоры опасны для нас всех, к тому же это чудовищная ложь.

Они заспорили. Но мы не дали им такой возможности. И мне надо было кое-что уточнить, чтобы внести поправки в еще один мой план, который я обдумывал все тогдашнее время, когда с виду все было как надо, а на самом деле так нет.

Каждое утро Миеттинен советовался со мной и Хейкки по поводу работы, всегда гавкая в приказном тоне, но на следующий после разговора у костра день я выбрал делянку примерно в километре от города, большую делянку, а еще через день я сказал Миеттинену, что нам нужны лыжи.

— А вы не можете рубить ближе к городу?

— Лыжи нужны нам в любом случае.

Хейкки, стоявший рядом со мной, сказал, что и ему лыжи не помешают.

— У нас солдатам лыж не хватает.

— А вот эти?

Хейкки кивнул в сторону одного из подвластных Миеттинену сараев, заваленных остатками

разного барахла, накопленного гражданским населением.

И уже через несколько часов у нас были лыжи с креплениями, ботинки и палки, почти по размеру. И с тех пор я все время, что удавалось урвать, тратил на то, что учил Суслова и братьев ходить на лыжах. Михаил и Антонов и так умели. А Хейкки делал вид, что не замечает, чем мы заняты.

Я нагрузил в сани дрова, запряг коня и несколько следующих дней ездил по Суомуссалми, изображая дроворуба, везущего покупателю дрова; я высматривал предателя Николая, толмача, но он никогда не бывал один и все время изображал, что не знает меня. Но я не из тех, кто отступается, и однажды вечером я подъехал прямо к нему, спрыгнул с саней и заступил ему дорогу. Он снова был не один, а с финским офицером, но я не смутился, а деловито спросил Николая, куда складывать его дрова.

— Дрова?

— Ты попросил привезти тебе меру дров, куда их класть?

Что-то подсказало ему, что я сумею извлечь из этой поставки дров все, что можно, поэтому он задумчиво буркнул «туда», поискал взглядом и нашел среди руин подходящее место, примостив-

шееся на спуске к воде с северной стороны мыса.

— Давай я тебе покажу, куда, — пробормотал он.

Мы оставили финна и пошли туда пешком, я вел коня под уздцы, и его голова качалась вверх-вниз между нашими головами. Николай прошипел:

— Какого черта тебе надо?

Я сказал, что лучше дойти до места и там спокойно поговорить, пока я буду разгружать дрова.

— Некоторые пленные из лагеря в Хулконниеми назначены рубить дрова, — сказал я, — точно как было при русских. Я хочу, чтобы ты рассказал финнам, что эти шестеро никогда не были солдатами, что это гражданские, которых силой забрали в армию.

— С какой стати я должен это делать? — спросил он, торгаш, получивший в руки средство шантажа. Я решил не слышать этих слов.

— Можно подождать, пока не подвернется случай, — продолжал я. — Но когда-нибудь случай подвернется, и тогда скажи, что эти шестеро никогда не носили формы.

— Я могу рассказать им, что ты сотрудничал с нами.

Я улыбнулся.

— В рубке дров?

— Именно, — ответил он, и опять получилось как у нас с ним и бывало, что у нас обоих рыльце настолько в пушку, что нам обоим и сказать нечего. Но все же он спросил, не угрожаю ли я ему.

— Я прошу тебя рассказать всю правду об этих русских, — не унимался я. — Вы из одной страны.

Хотя он продолжал стоять на месте и вид у него был такой же, как в тот раз, когда он не мог понять, убить ли ему меня или использовать, я решил закончить беседу, пока кому-нибудь из нас не вступило чего-нибудь в голову, и сказал, что в эту поленницу дров хватит, сел в сани и укатил назад.

Еще через три дня я рассказал Миеттинену, что мы с Хейкки ночуем в доме Луукаса и Роозы, сказал, что это большой дом, где могут поместиться все рубщики, тогда их не придется каждый день возить туда-обратно.

К моему удивлению, он ответил, что и сам об этом думал, но это рискованно, ведь пленные могут сбежать, хотя бежать им некуда, но русские — они ведь не такие, как все, а мы тогда останемся без рубщиков.

Я понял, что ему неохота признаваться, что он

уже обсудил идею наверху и получил отказ.

— Так, так, так, — сказал я. — Но дом готов.

А уже через два дня вслед за конвоем с пленными появился джип, в котором сидел за рулем один солдат, а позади него все было завалено шерстяными одеялами, одеждой и ящиками с сапогами и инструментами. По лицу Миеттинена я понял, что назревает что-то. Сдав пленных, солдат поехал дальше в город, остановился у дома Луукаса и Роозы, перетаскал все вещи и ящики в прихожую, потом закурил и постоял еще, отдыхая и рисуя дымом какие-то забавные загогулины, наконец закрыл дверь дома и уехал.

Ни слова не было сказано об этом. Но теперь мы снова жили под одной крышей, нерукотворный магнит снова собрал нас в кучу, все получилось как заказывали, но вышло неприятно, как будто мы сделали всё правильно, но ни к чему не пришли — и все равно мы были счастливы и довольны, мы были настолько свободны, насколько это возможно в клетке, хотя у Миеттинена были свои мысли, и в первую ночь нас разбудил конвойный, желавший проверить, что никто не сбежал; на вторую ночь он не стал нас будить, а только пересчитал, а на третью мы не нашли его следов на снегу рядом с домом, дело шло к

концу января, было шесть-семь градусов мороза, безветренно, небо сгустилось, и снова пошел снег, а потом ударили морозы страшнее прежних.

Но это не испугало. Мы по-прежнему рубили дрова. Мы были рубщики, созданы рубить. Вы бы видели, как мы работали! Даже Хейкки качал головой и улыбался беззубым ртом. Рубщики работали без срывов и скандалов, им бы так на своих вкалывать, на русских, мы ходили на лыжах, рубили дрова, ели, спали, снова ходили на лыжах, из такой жизни рождаются грандиозные планы, мужество, мысли, что все человеку по плечу и что бы ему еще такое сделать, у человека кружится голова, и в какой-то день у него появляется чувство, что с ним больше не может произойти ничего ужасного, все ясно и чисто, это смертельно опасная мысль, но мы дожили уже до середины февраля.

И вести с фронта постепенно приняли такой характер, что как-то утром к нам в кухню явился довольный Миеттинен, встал, посмотрел, как мы завтракаем, и отдал лично ему глубоко противный приказ: рубщикам остаться дома и отдохнуть, сегодня воскресенье, а столько дров в Суомуссалми сроду не бывало.

— Свинство просто, — сказал он.

Все на свете повторяется, но это человек понимает потом: он раз ищет выход из трудного положения, два и не хочет замечать, что вновь оказался в тех же обстоятельствах, из которых однажды уже выбирался. Ожидание, в котором мы теперь жили, по сути было сродни нетерпению, выгнавшему нас в Рождество из дому прямиком в ад. Разница состояла лишь в том, что Суомуссалми не грозило уничтожение, что линия фронта не подходила к городу так вплотную, что раньше или позже дни станут теплее и снег подтает, хотя ночи останутся морозными, а на насте следов лыжне видно.

— По-моему, война кончается, — сказал я однажды вечером Антонову, к которому в последние дни вернулся тот бегающий неспокойный взгляд, который был у него, пока мы все не потеряли. Он взглянул на меня и согласился: да, война кончена, скоро нужда в нас отпадет, понятно, как оно тогда будет, мы уже ученые.

Мы растолкали остальных, никакого голосования на этот раз, еда, лыжи, одежда, палки… — и уже через несколько минут мы были на улице, держа курс на север, как стая белых ворон, ковыляющих по хрусткому льду, пыхтение и стук палок, братья шли с кошачьей ловкостью, Ми-

хаил посмеивался, хмыкал и гмыкал, Антонов был сосредоточен на палках, с которых мы сняли острие, у Суслова случился приступ ликующей благости, борода, которую он отрастил себе за это время, так и сияла, один только Хейкки смотрел на это как на маневры, приближающие его к дому.

Все, что накапливалось целую вечность, перемежаясь морями тяжелой темноты, теперь гнало нас на север, и ничто не могло остановить этого целенаправленного движения к моему хутору в Лонккаиеми, и то, что в январе предоставлялось совершенно недостижимым, теперь удалось нам всего за один долгий, молчаливый и упорный переход.

Мы добрались до места к утру и увидели, что все стоит нетронутое, нет никаких следов разрушения, ничего не разорено, и сразу, не сговариваясь, принялись за дело, как будто мы уже окончательно выжили: лыжи в дом, достать сухие дрова, свет не включать, только тепло, испечь хлеб, консервы и соленое мясо, кофе, варенье, самогон, застелить кровати, выставить часовых, братья заснули, обнявшись, в кровати моих родителей, а остальные пили и осторожно осматривались в свете дня, медленно, но неуклонно наполнявшего

собой нетронутые комнаты, и прислушивались к вопросу, ответить на который сил у нас не было, но который уже в ближайшие дни придавит нас своей тяжестью: что дальше? Но сейчас мы у цели, мы добрались так далеко, как только возможно добраться таким никчемностям, как мы.

14

Уже на следующий день выяснилось, что братья вынашивают планы, превосходящие и мои, и их собственные, они собираются двигаться дальше, на север или запад, желательно со мной в роли проводника, хотят попасть в нейтральные Норвегию или Швецию. И всего за несколько часов эта идея завладела и Антоновым, который раньше собирался к семье в Карелию.

Но и я не терял времени даром, я тоже успел немного собраться с мыслями; судя по услышанному мною в Суомуссалми то, что Норвегия и Швеция изменили Финляндии, не означало, что они вдруг стали принимать русских дезертиров, наоборот, эти страны боялись Советов.

— Мы не русские, — сказал Надар. — Мы евреи.

Антонов всплеснул руками и холодно засмеялся.

Надар в ответ разорался; наше существование опять вернулось к безысходности тех дней в окружении.

— Он говорит, что дома все одно, — сдавшись, переводил Антонов. — Там нас всех порешат, что

русских, что евреев, но…

Внезапно он сорвался на крик:

— Ты, золотушный, может, у тебя документ есть? Ты что, ходишь с паспортом, где написано, что ты еврей?

Пока он переводил, Надар с понурым видом разглядывал свои ботинки и мямлил что-то под нос, мне пришлось два раза попросить Антонова повторить, что он сказал, и это далось крестьянину нелегко.

— Он считает, что это их единственный шанс, и спрашивает, что хуже, Швеция или Норвегия. Говорит, что, если ты не идешь с нами, мы справимся и сами, и спрашивает, есть ли у тебя карта.

Я посмотрел на Антонова, на этого широкоплечего крестьянина.

— Это далеко.

— При такой жизни все недалеко, даже для них.

— А ты идешь с ними?

Он тянул время.

— Не знаю, дома нас могут встретить чем угодно, и у меня семья, мне надо к ней, а эти дьяволы…

— Лучше умереть дома, чем жить на чуж-

бине…

Он улыбнулся и сказал на своем самом лучшем финском:

— Ты передергиваешь, ангел, ты не знаешь, расстреляют ли нас дома, и ты не знаешь, разрешат ли нам жить в Швеции, мы ничего не знаем, ты сам это говорил, а когда ничего не знаешь, лучше домой, я, наверно, так и сделаю, Хейкки обещает довести меня до границы, а там уж я сам разберусь.

Он оглянулся на Хейкки. Старик озабоченно закивал, у него хутор в Пирттиваара, у самой границы, он все время мечтает поскорее туда вернуться, хотя у него нет семьи, но есть земля.

Эти разговоры шли несколько ночей, по кругу, мы выискали все «за» и «против» и окончательно убедились, что снова оказались в ловушке, но нам отчаянно хотелось отыскать игольное ушко.

Только Суслов и Михаил не говорили вообще ничего. Учитель согнулся, подавшись вперед, в единственном кресле, и теребил бороду, прикидывал варианты и не видел выхода, качал головой, хмыкал, вскакивал и снова садился, а Михаил раскачивался в кресле-качалке моего отца, смотрел сонным затуманенным взором в окно, не сберегшее своих заиндевевших роз — за

окном было солнце, весенний слепящий свет, с крыши капала капель, и трещали бревенчатые стены: мороз отступал, мы уже слышали даже лебедей.

— А что ты, Михаил? — крикнул я по-русски. — Что будешь делать?

— Здесь останусь, — сказал он.

Остальные улыбнулись.

— Эх, кота мы с собой не взяли, — добавил Михаил, снова раскачиваясь.

Я встал со словами:

— Сейчас мы ляжем и будем отсыпаться еще день. Ночью печем хлеб, едим и пьем, топим баню и моемся. И стираем одежду.

— Да, да, да-да-да! — заголосил Суслов, вскочил и, как идиот, стал отплясывать, это было так нелепо, что мы все смущенно отвели глаза.

Днем мы всегда спали, топили только по ночам и никогда не зажигали света, ходили по насту крадучись, в одних носках, братья тихо бормотали что-то, колдуя над кастрюльками на кухне, непоколебимо уверенные в том, что скоро покорят новый мир, им только все не удавалось пуститься в путь. Мы с Михаилом соорудили кровать, положили в нее старый сенник и оттащили на чердак, никогда не бывший жилым, потому что

я рос единственным ребенком в семье. Хейкки и Антонов ставили ловушки на зайцев и силки на птиц, а Суслов думал о том, о чем ему тогда думалось, ничего не говорил, но все дальше заходил в своих раздумьях, додумавшись, видно, до чего-то такого, что встало на его пути как гора.

Я видел все это и не видел. Потому что с первого вечера меня точило беспокойство, новая тревога, на которую меня не хватало в городе: мы должны были взять с собой кота и прибрать у Луукаса и Роозы, нельзя было платить такой неблагодарностью хозяину дома… раскаяние, я чувствовал раскаяние и осознавал: то, что я делал в Суомуссалми, наверняка выглядит как предательство — и рубка дров, и перевод донесений, и что я рассказывал русским об окрестностях города, о хуторах и толщине льда, да, я старался задурить им голову, но этому нет свидетелей, и толку от моей лжи никакой не было — нет, самой моей сильной картой были рубщики, мои единственные и святые свидетели, но они русские, враги, и теперь я сам помогу им исчезнуть навсегда, а тогда уже и Господу нечего будет предъявить в мою защиту.

В общем, мое положение было столь же незавидное, как и у рубщиков, и лучше само по себе

оно стать не могло, а я не делал ничего, чтобы положить конец всей несуразице: не гнал рубщиков вон и не предпринимал ничего, чтобы нас нашли, и уж тем более не собирался никуда, ни на север, ни на восток, идея покинуть навсегда Лонккаиеми и Киантаярви была и сейчас неосуществима так же, как и когда город жгли, я есть я, человек простодушный и бесхитростный, поэтому я стал избегать разговоров, я спал и днем, и ночью тоже.

Иногда приходил Суслов, садился рядом с кроватью и рассказывал, я не понимал, но мог по его просветлявшемуся лицу догадаться, что речь шла о его детстве, это были воспоминания о времени, невозвратность которого начинает доходить до человека, это не были красивые истории, как та с моралью про мальчика-конокрада, нет, это было подряд и без разбора — все, чего он не мог уже держать в себе, отходы.

Приходил Михаил, с жидким кофе и маленькими жесткими лепешками, которые братья пекли из муки. Он не говорил вообще ничего, сидел, положив на колени ладони, похожие на старые жухлые листья, и глядел в окно; там было все, что хочешь, только не то, что нам надо. Но Михаил был смирный, и я подумал, что самое сильное

увечье, нанесенное ему войной, это взрослость, он возмужал — и что ему теперь с этим делать?

Если молчание затягивалось, я сам рассказывал ему, что куры раньше толклись на снегу прямо под окнами, они уделывали снег своим черным пометом, и весна начиналась там, где им было угодно, появлялась желтая трава и говорила, что лето будет, и я хочу, чтобы все это вернулось, хочу назад своего коня, Кеви, и думаю купить себе поросенка или теленка, а постепенно надо бы поднапрячься и справить новую лодку, в Суомуссалми есть мастер по лодкам, я продаю ему дрова, и он наверняка даст мне лодку в рассрочку… И Михаил понимал хотя бы, что человек так вот говорит, говорит и помаленьку выговаривается.

Мы держались — не раскисали. Вплоть до того вечера, когда Хейкки объявил, что время пришло и он уходит сегодня же ночью, пока снег не испортился, и это решение снова выбило Антонова из колеи, он заканючил, недовольный и раздраженный, что куда торопиться, он, конечно, хочет домой, но не сейчас, и он думал, но пока еще…

Я спросил, что он себе думал, но он ограничился презрительным взглядом в сторону Надара, а после отвел меня на крыльцо, снова спросил, далеко ли до севера, но оборвал сам себя на полуслове.

— Они не берут меня с собой, — сказал он обреченно. — Они мне не доверяют.

— А ты хочешь с ними?

— Они евреи. Я русский.

— Понятно, — сказал я.

— Тогда я лучше вернусь домой, вместе с Михаилом и Сусловым.

— Понятно, — сказал я.

— Ты хочешь от нас отделаться уже? — спросил он.

— Нет, — сказал я и посмотрел ему прямо в глаза.

— Точно?

— Да. Но если вы останетесь, рано или поздно вас арестуют и отправят домой.

— А что лучше?

— Я не знаю.

Он закусил губу. Мы молча смотрели с ним на лес, опять приморожeнный и встопорщившийся, как колючая проволока. Не было слышно ни звука. Мы переглянулись, кивнули, как по уговору, и вернулись в дом. Братья даже не посмотрели в нашу сторону. Остальные двое тоже: Михаил качался, закрыв глаза, в качалке, Суслов, как обычно, сосредоточенно теребил бороду.

Антонов шепнул что-то Хейкки и взял его за

руку. А Хейкки ответил громко, что ему все равно, он может пойти и один, он в своей стране.

Мы нагрузили на саночки еду и инструмент, дали ему самые хорошие сапоги и лыжи и простились. В эту ночь мы замолчали, как будто сговорились, как будто каждый понимал, что стоит прозвучать хоть слову, и все мы погибнем — братья молча готовили еду, мы поели в молчании, мы с Антоновым нарубили немного дров, Михаил и Суслов ждали, когда поблекнет еще одна звездная ночь. Лег я с чувством, что потерял еще кусочек мира, опять потерял, на этот раз его унес с собой Хейкки, а ближе к вечеру проснулся, точно зная, что только работа может удержать нас на плаву, как тогда в Суомуссалми — в общем, я сказал им, что надо сходить в хлев за топорами и сетями, я знаю у мыса штук десять мостков, они сейчас подо льдом, но их можно вырубить и привязать к ним сети, мы так всегда рыбачили зимой.

Так мы и сделали, поставили четыре сети и вернулись в дом, не встретив ни зверя, ни человека, а на рассвете вытянули наши сети, отнесли скромный улов в дом и пустили в готовку. Так мы рыбачили три ночи кряду, закидывали сети, ждали, готовили рыбу, ели, мне хотелось

порасспрашивать братьев и о том, и о сем, но я сдержался; мы рубили дрова, хотя не нуждались в них, говорили все меньше, часто мылись, и когда на четвертую ночь Суслов скатился с чердака с криком, что какой-то лыжник идет к дому, — прямо к нашему дому! — я понял раньше, чем увидел лопоухие уши, что это возвращается Хейкки, друг наш Хейкки.

Он был мрачный, потный и растерянный, хутор его сожгли, а война кончилась; Финляндия проиграла, не у Суомуссалми, но на всех остальных фронтах, и теперь должна отдать русским земли, которые они требуют.

— Жить мне негде, — сказал он, объявив о наступлении долгожданного мира, на который мы так уповали в смысле ясности, — можно, я здесь останусь?

Ну да, что мы имели, то и имели, мы были в Лонккаиеми. И в ту же ночь это опять вылилось в драку между Антоновым и братьями, а все потому, что он опять захотел идти вместе с ними. Михаил, как обычно, сидел в своей качалке с покойной улыбкой на лице, а Суслов еще сильнее согнулся, погрузившись в свои думы.

Хейкки удалось разнять их, мне — нет, в эти дни мне многое не удавалось, я не справлялся с

вещами, с которыми обычно управлялся запросто, но не тогда, тогда все мне было не по силам. Потом мы легли спать. Измученный гнетущими снами, я сквозь дремоту почувствовал — что-то происходит, уже произошло.

Я поднялся и посмотрел в окно: следы из дома в хлев, единственные, которые мы оставили за все время на хуторе, были глубокие и немного разбитые.

Я медленно оделся, разбудил Антонова и попросил его пойти со мной. На чердаке мы нашли Суслова, повесившегося на грузиле от рыбацкой сети, бескровное лицо посинело. Он срезал бороду и положил ее, как звериную шкуру, рядом с табуреткой, опрокинутой теперь на пол. Тут же лежало запечатанное письмо.

Мы перерезали веревку. Антонов вздохнул. Поворотный пункт. Разбудили всех. Хотя уже наступил день, мы отнесли Суслова на мыс. Раскопали снег до низа, до земли и корней, зажгли костер и палили его весь день, потом стали копать могилу дальше. Михаил сделал крест, теперь он плакал, не таясь, но лицо не пухло, только светилось одиночеством. Михаил потребовал, чтобы я сказал слово. Говорить было нечего. И я вспомнил, как давно Суслов рассказал нам ис-

торию о мальчике-конокраде, которого вместо наказания похвалили, и пока я произносил это и ждал, что Антонов переведет — он говорил с закрытыми глазами, воздевая руки, словно цитируя меня, — мне захотелось сказать вот о чем: все время нашего знакомства с ним мы жили в перевернутом мире, где перепутана правда с кривдой и все поставлено с ног на голову, мы дали сбить себя с толку, но теперь нам надо вновь обрести способность все понимать четко, мы же видим, сказал я, сам не знаю зачем, что стали друзьями, и знаем, что каждый из нас повинен в этой сумятице, — эту ясность внес своим жестоким поступком Суслов, мы благодарим его, и благодарим за него, и никогда его не забудем.

Остальное прошло по-деловому, без надрыва, потому что действительно наступил конец. Братья собрались уходить в ночь, взяв санки, шерстяные одеяла и кусок брезента вместо палатки. Наст продержится еще неделю, может, две, потом придется выбираться как-то иначе. Антонов передумал идти с братьями, он собрался домой, все остальное бессмысленно. Михаил хотел идти с ним.

Я разорвал старую отцову карту пополам и отдал братьям и Антонову по куску. Так же мирно

поделили мы еду и вещи. Потом попрощались, пообещали прийти на похороны друг друга, пожали руки, и всем разом показалось, что все закончилось слишком быстро.

На этот раз говорить досталось Антонову. И он сперва по-русски, а потом по-фински завел речь о мужестве, о моем мужестве, но я с ходу сказал «нет», даже слышать об этом не желаю, может, это как раз была с моей стороны трусость, а не храбрость, я знал, что нужно для выживания, и хотел выжить, я боялся умереть, до смерти боялся, вот.

Антонов улыбнулся. И заговорил о силе, что, предположим, я не был храбрецом, но у меня нашлись силы сделать все, что нужно, и я опять возразил, на этот раз более осознанно: нет, всю свою силу я черпал из слабости рубщиков, они с первой секунды завоевали меня своей немощью, потому что будь они покрепче, я бы сам потерял присутствие духа, как Суслов, — сказал я, быть сильным среди слабых просто, это прибавляет человеку сил, дает возможность сделать сильнее и остальных, и так оно и вышло, в одиночку я бы не справился, так что — как я теперь понимаю — они спасли меня, как и я спас их, это я должен сказать им спасибо.

Я не знаю, как Антонов перевел это, но он очень старался, и все серьезно кивали, а после последних его слов заулыбались застенчиво, и я снова поблагодарил их, по-фински и по-русски, а потом мы обменялись рукопожатиями, и все одновременно покинули Лонккаиеми.

Два человека пошли на восток, домой, к границе с Советами, два хромых еврея — в сторону Норвегии, Швеции или страны, дойти до которой им хватит сил и надежды. А мы с Хейкки пошли в Суомуссалми, на этот раз по льду, на виду у всех, и я всю дорогу был счастлив, что сказал им спасибо, — откуда только взялась у меня эта идея? От Суслова. И она была дороже золота.

15

Когда лесорубы Тиммо Ватанен и Хейкки Турунен вернулись в Суомуссалми, а было это молочно-белым днем в конце марта 1940 года, город делал первые попытки возродиться из пепла: стайки самых нетерпеливых жителей уже вернулись назад, на черных от копоти и сажи фундаментах поднимались новые столбы и белые доски, в побитом лесу визжали пилы и стучали топоры, тянулись подводы, грузовики и трактора с любимым скарбом, дети играли в черном снегу, безоружные солдаты и гражданские с несмелыми улыбками на опасливо отрешенных лицах спешили куда-то в похожем на табор лагере из грязных палаток с кривыми, исходящими дымом печными трубами, нацеленными в небо, которое теперь с каждым днем будет становиться теплее и приветливей, дело к весне, к лету, к новой жизни в новых домах.

И в тот же вечер в самой большой палатке, столовой, раскинутой на школьном дворе, был устроен праздник с гармоникой, и танго, и самогоном, и это одна из причин, по которым

Тиммо отказался рассказывать дальше, ему было страшно стыдно, невыносимо стыдно, ведь всю военную зиму он продержался трезвым как стеклышко, а тут в мирное время нате: зачем-то вылил в себя жуть сколько самогона и стал кидаться с топором на растяжки палатки, порвал скатерть, затеял драку с кузнецом… в общем, в конце концов трое солдат скрутили его и заперли в бытовке на колесах. В ней не было ничего, кроме печурки размером с консервную банку, двух скамеек и узенькой столешницы, которую Тиммо разнес в щепы голыми руками, чтобы топить этой холодной ночью, которую он испоганил еще и тем, что молотил кулаками стену и вопил, к ужасу и изумлению горожан:

— Мы русские! Все мы русские!

Хейкки, гостивший у родственников в Хулконниеми, услышал о происшествии под утро и выручил друга. Город успокоился.

— Они справятся, — сказал Хейкки о рубщиках. — Справятся.

— Да, — согласился Тиммо.

Хейкки вернулся к своей родне, а Тиммо отправился отсыпаться после похмелья в заднюю комнатушку к Антти.

С хмелем ушла и злость, но не стыд, Тиммо

проснулся, но из дому никуда не пошел, даже и за едой не вышел, сидел у окна, дышал на стекло и рисовал на нем, а мимо тянулись груженые сани и машины, и все более густая толпа гражданских, возвращавшихся в свои сожженные дома.

Так он коротал дни, пока не вернулось семейство Антти с сыновьями, все взбудораженные и довольные, что нашли свой дом в целости, сохраненный истощавшим и растерянным Тиммо, который тем только и занимался, что холил их жилье во время этой длившейся почти целую вечность разлуки.

Тиммо помог им занести в дом все, что они вынесли из него в начале декабря, трое полных саней мебели, картин, одежды и сундуков, ну и швейную машинку и прялку Анны, которыми давным-давно никто не пользовался, но от которых теперь в мирной жизни еще труднее будет отделаться… Целый склад консервов плюс десять мешков муки торговец дальновидно упаковал в самые маленькие сани, которые вез конь Тиммо, Кеви, — он узнал своего хозяина и положил слюнявую морду ему на плечо, словно хотел поцеловать его, и Тиммо гладил ему шею и бока, приговаривая, что тот не иначе как простоял всю зиму в тепле, так он замечательно выглядит.

Магазин открылся день спустя, и за прилавком пришлось торчать смущенному Тиммо, поскольку Антти с сыновьями снова уехали за товаром, до зарезу не хватало инструментов, гвоздей, консервов, мяса, кофе, муки… разве что дров было в избытке. И только когда Антти вернулся во второй раз, Тиммо выложил ему, что он учудил на празднике, и потому, дескать, не сможет он теперь оставаться в городе, а хочет отправиться к себе в Лонкканиеми, вместе с Хейкки, уже основательно испытавшим на прочность гостеприимство родичей и готовым взяться за восстановление своего хутора. Тиммо мог бы, наверно, ему помочь, Тиммо и сам не знал, куда податься, одно только было ему ясно — что он не сможет находиться в Суомуссалми, в родном своем городе, из которого его не сумела выгнать даже русская армия, а выжил стыд, эта незримая черная зараза. Но Тиммо хотел попросить напоследок Антти об одолжении, как-никак он присматривал за его домом: не отвезет ли Антти к нему на хутор ту груду железного лома, которая валяется перед домом Луукаса и Роозы и ржавеет на солнце?

— Железного лома?

Ну да, Тиммо собирался превратить его если не

в золото, то уж точно в справный инструмент, который даже если не удастся продать, то всегда сгодится на таком большом хуторе, как у него, где вечно что-то нужно чинить и прилаживать, а уменьшать свой хутор Тиммо не собирается, нет.

Антти видел, что война не пощадила его друга: совсем еще молодой, а стал стариком, какая-то тяжесть в его лице, и при этом — какой-то провал, точно полынья посреди льда, и столь очевидна неуместность Тиммо в теперь уже послевоенном мире, в котором все вокруг прилежно обустраивались со счастливым щебетанием, по крайней мере, те, кто не потерял всего — близких, дома… Короче, Антти не стал спрашивать, на что Тиммо сдались ржавые железки, только кивнул и пообещал, что, когда сойдет снег и просохнут дороги, он все привезет и заодно приведет Кеви.

— Но только ты смотри не исчезай, — строго сказал Антти.

Тиммо пообещал появляться.

Той же ночью они с Хейкки ушли на север, опять по льду, провели несколько дней в Лонкканиеми, а потом Тиммо отправился с ним дальше, на его хутор у самой границы, чтобы помочь своему другу поставить новый дом.

Стены они возвели уже в начале лета и стали

класть крышу и обшивать дом. Но сколько может длиться тишина? И как, в конце концов, понять, добрый это знак или зловещий?

— Граница на замке, — сказал Хейкки. — Мы ничего о них не узнаем, ни сейчас, ни позже, наверно, никогда.

— Да, — согласился Тиммо.

— Но это не так уж важно. Наверняка у ребят все нормально.

— Да, — согласился Тиммо.

— Ты только вспомни, какие они были справные, у них сроду не было столько сил, как тогда, когда они пустились в путь.

Ну а потом Тиммо вернулся домой и, по своему обыкновению, погрузился в хлопоты: то всякие полевые работы — у него ведь были луга, то чистил канавы, то валил деревья, то рыбачил, но в основном пропадал в мастерской, чинил инструмент. Ну и снова рубил дрова, конечно. Он работал сутками напролет, изматывал себя работой, лишь бы не лежать белыми ночами без сна с этими мыслями, со страхом, вопившими в тишине… Тиммо казалось, им пора бы уже развеяться; а еще должен был бы притупиться стыд, и страх, что его арестуют, а особенно — мучительный страх, что рубщики погибли: он видел,

как они падали в беспамятстве один за одним у горящей избушки, и даже Антонов воздевал свои крепкие руки, жизнь человеческая мало чего стоит, но раз уж она дана человеку, тот цепляется за нее всеми доступными ему способами, часто очень трогательно, и эта трогательность отпечаталась в мозгах Тиммо; не отпускали душу жалкие доходяги, которых он по зову неслышимого гласа спас, возможно, тем и спасшись сам… а в результате, пережив войну и чудом выжив, в очередной раз оказался неприкаянным бродягой в своей собственной жизни, и теперь он сколько угодно мог пожимать плечами и дергаться, тяжесть никуда не девалась: ни ее, ни мысли эти нельзя было прихлопнуть и растереть, как он поступал с комарами и мухами, этими роящимися тварями, зудевшими вокруг его потного распаренного тела все лето от зари до зари, он избавлялся от них, только зайдя в дом или плавая в Киантаярви, скорее дрейфуя, так лениво и так редко делал он гребки, нежась в озере белыми, без сумерек, и безветренными вечерами, которых выдалось так много этим летом, истинное благословение, свет.

За зиму и весну со льда собрали пять тысяч трупов, но много тел озеро поглотило, и теперь они

гнили на дне и по берегам бухт, Тиммо наткнулся на несколько, идя по лисьим следам или на вороний галдеж; черная, прежде прозрачная, вода озера помутнела, а в лесу развелось множество волков, и еще вроде как кто-то все время у него за спиной, то конь вдруг зафыркает, то тень метнется за окном, когда он поднимет глаза от тарелки с мясом; водные лилии и водоросли гладили живот и бока, когда он плавал, будто большая белая рыбина, погружаясь в то, что прежде было таким, каким создано от века — теплым, прохладным и вечным, но теперь кто-то побывал здесь — и все изменилось.

Когда наступил август, Тиммо надумал купить поросенка, поздновато в августе, конечно, но так уж сложилось. В общем, сел он на весла и двинулся на юг. Он махал веслами, и вскоре ему наскучило грести, ну и ну, обычно его это не утомляло, но в этот золотистый пресыщенный день уходящего лета, когда куда ни глянь — лес и небо… лодка нарезала и нарезала маслянисто-глянцевые складки на огромном зеркале, Тиммо греб все быстрее, руки его, обхватившие мокрые деревянные весельные ручки, потели и кровили, уключины мягко скрипели в тишине, и казалось, все это уже никогда не кончится, но ведь должно

же, должно прекратиться… И тут он внезапно увидел город, бревенчато-белый город в полвысоты себя прежнего, еще стоявший на коленях, понурившийся, но готовый выпрямиться и до того невообразимо прекрасный и светлый, что Тиммо не мог не причалить, а выбравшись на берег, он застыл, тараща глаза, остро ощущая всю свою никчемность и неприкаянность… — он мог бы вскрыть письмо Суслова, но он не сделал этого, он заранее знал, что учитель написал в предсмертном письме, — то же самое, что в записочке, которую он вложил в очешник Роозы, когда они убегали в первый раз: «спасибо» — и ничего больше, не могло там быть более ничего.

Привязав лодку, Тиммо решительным шагом отправился к кузнецу, на которого набросился тогда на празднике, и сказал, что хочет извиниться и заказать кое-что, крышку на дровяной ларь, и подробно описал, что ему нужно, из какого железа, какой толщины и формы, под какие болты… Кузнец все записал, и они пожали друг другу руки, предварительно сговорившись насчет цены, и немалой, и о том, что все будет готово через неделю.

Вообще-то он собирался потом к Антти, но раз уже день задался, то он притормозил у дома Ро-

озы и Луукаса, полюбовался новым тамбуром и недавно окрашенными окнами в гостиной и кухне, потом постучался, зашел в дом и прошел коридором на кухню, где сидели старики, несчастные старики, потерявшие сына, Маркку, на Перешейке, и ждавшие двоих других сыновей, тоже солдат. Тиммо тихонько спросил у них, не находили ли они кота, серого такого, без хвоста.

Нет, кота они не видели.

Тиммо сразу заметил возникшее отчуждение, потому что хоть с ним и поздоровались, и налили ему кофе, и Рооза рассказала о Маркку, Луукас говорил мало, не пошутил ни разу и ни о чем не расспрашивал. Поэтому Тиммо, покончив с кофе и пирогом, не ушел, а сидел, сомлев от тепла и понурив голову. В конце концов Луукас встал и вытащил из ящика, в котором Тиммо нашел тогда очки, маленький блокнотик и карандаш, подсел к Тиммо и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Смотри мне в глаза, Тиммо, когда я с тобой разговариваю.

Тиммо взглянул на него. Луукас сказал:

— Давай тогда как обычно. В октябре мне нужно три меры дров, по тридцать сантиметров, березовых. Ни ель, ни сосна — только береза!

Он медленно записал заказ на бумажке и про-

тянул ее Тиммо. Тот взял ее со слезами на глазах, сложил, убрал в карман рубашки и выбежал со словами:

— Я приеду. В октябре. Я приеду!

Он подумывал зайти заодно к тому мужику с болотно-зеленой бородой и стребовать с него долг, но передумал и пошел прямиком к Антти. Магазин не работал, парадная дверь была заперта, зато задняя, ведущая в его комнату, была, как всегда, открыта, поэтому он зашел, улегся на чистое белье и уснул прежде, чем на город опустилась тишина, и спал, и ему не снились ни окаменевшие лица русских, ни лицо стыда, а только лес, который когда-нибудь пойдет под топор или останется жить, непреодолимые гектары леса.

Проснувшись, он плотно поел, поставил крестик в бумажке над кухонным столом, где отмечали завтраки и обеды Тиммо Ватанена, и написал короткую записочку Антти. По дороге к продавцу поросенка он встретил лейтенанта Олли, по-прежнему лейтенанта, но в штатском.

Однако вечный лейтенант прошел мимо, отвернувшись в другую сторону, у него были дела поважнее, чем узнавать какого-то гражданина, которого он, согласно приказу, строго говоря,

должен был выставить из города как ненужного свидетеля. Тиммо опешил, потому что он и не мыслил держаться с Олли без должного почтения. И в то же время он теперь чувствовал себя куда более сильным и почти нормальным и смело пошел к бородатому, который поначалу никак не желал расставаться со своими деньгами. Пересчитывал их снова и снова, но потом все же отслюнявил причитающееся со страдальческим видом, словно жертва бессовестного вымогательства.

— Вот спасибо, — сказал Тиммо. — Я знаю, что ты не любишь ходить в должниках.

— Тебе спасибо, — сказал бородатый.

И тогда уже Тиммо сходил и купил порося, отнес его в лодку, привязал к задней скамье и поплыл домой по водному зеркалу, блестевшему ярче, чем накануне, но он греб в сторону дома не для того, чтобы прочитать письмо Суслова, он и так знал, что в нем написано, к тому же по-русски Тиммо читать не умел.

16

Первая осень Тиммо вся была заполнена работой, которую надо было обязательно сделать. Скосить траву и заготовить Кеви сена на зиму, наловить рыбы, насобирать ягоду, поохотиться и нарубить дров. Тиммо в оговоренный срок поставлял ель, сосну и березу, все любят разное. В наново отстроенную школу привезли печки, заглатывавшие метровые чурки, а бабке Пабшу для ее голландки нужны крошечные чурочки, чуть не щепки. И с оплатой тоже все шло как всегда, ему давали или совсем гроши, или что-то взамен, обычно еду, так что когда на голые промерзшие октябрьские поля, по которым так приятно бродить, лег ноябрьский снег, у Тиммо было все, чтобы перезимовать хорошо: уверенность, покой и дел по горло.

Так оно дальше и пошло-поехало. Для него, для Тиммо. Прошла еще одна война, в продолжение, и куда более свирепая. Но это была не его война, Тиммо жил у себя дома, продавал дрова, в том числе и огромным воинским соединениям, когда они оказывались поблизости, брал на постой из-

мерзшихся солдат, топил для них баню и делился с ними тем, что имел. Одно время у него жил Хейкки, потому как на его отстроенном хуторе снова не было никакого житья, и тогда они уже вдвоем охотились, рыбачили, рубили лес, Хейкки пил без просыху, Тиммо — никогда.

Когда окончилась и эта война и выяснилось, что хутор Хейкки сровняли с землей во второй раз, они снова отправились к нему и снова построили дом и прочее, Хейкки было хорошо за шестьдесят, ему нужно было где-то жить и крестьянствовать, ему нужен был хутор, чтобы им заправлять, земля, чтобы ее обрабатывать, и дом, где он родился и где упорно хотел и умереть. Но мебели у него не было совсем.

Тиммо отдал ему кровать, которую они сколотили с Михаилом, два кухонных стула и маленькую печку. Потом они с Хейкки сделали два стола, скамьи и шкафы для новой кухни и шкаф в коридоре. Кое-какое старье отдали Рооза и Антти, заслуженный диван, комод, кресло-качалку размером с лося, постепенно собрались и вилки-ложки-поварешки, много ли нужно бобылю, к которому крайне редко кто заглянет на огонек, так, один какой-нибудь гость.

И теперь, после второй войны, действительно

воцарился мир. Полный и надежный. Но какой-то скучный, одинокий и сиротский, хотя эти все особенности прошли мимо Тиммо, он только заметил, что за дрова ему стали давать все больше харчей, можно было даже растолстеть. Излишки он отдавал Хейкки, который несколько лет никак не мог войти в колею, или детскому дому в Перанке, еще он им бесплатно возил дрова, он сам нашел этих детишек и сам напросился, наврав, что рос когда-то в таком же сиротском приюте, это Михаил навел его на такую мысль, он вообще теперь так и думал о русских рубщиках — что они оставили ему память о себе, их лица, точно как мамино и папино, запечатлелись на тусклом стекле, они были для него людьми, которых знаешь и помнишь, и ничто этому не мешало, и ничего нельзя было поделать с тем, что это русские, живущие за границей, через которую не прорывалось наружу ни словечка.

И следующие десятилетия тихо прошелестели над Тиммо и городом, но со значимостью города, с его названием и репутацией, стали происходить интересные вещи. История нашла ему особое место, История с большой буквы. То, что следовало выудить из переполненной барахолки прошлого, застолбить и вечно помнить, было

наконец отфильтровано от прочего, что надлежало выкинуть и забыть. И в этой глобальной пересортировке крохотный провинциальный городишко, затерянный в далеких-предалеких лесах, вдруг обрел свой статус — он стал общеизвестен как классический пример великолепной тактики, без упоминания о Суомуссалми не обходится программа ни одной военной академии в мире, — благодаря этой тактике пятидесятитысячная русская армия, вооруженная по самому последнему слову, была загнана в капкан из холода и железа, а затем рассечена на части и хладнокровно и сноровисто порублена в щепы небольшими передвижными отрядами на лыжах и в маскхалатах, не защищенными ни артиллерией, ни танками, ни воздушным прикрытием, вот это и есть апофеоз военной науки, так и надо воевать, обороняясь.

В Суомуссалми зачастили делегации, финские и зарубежные, из ветеранов и штатских, политиков и ученых; в новом здании городской ратуши им вручали огромный букет и, например, термос, который прошел всю войну и спас жизнь капитану Лассиле, величайшему из героев; военный музей в Раатеваара разросся, сделавшись тихим, но весомым свидетельством большущего подви-

га небольшого народа. И это произошло быстро, раз-раз, и устоялось, как будто и всегда так было, и только теперь Суомуссалми, поняв, приняв и примирившись с этим, снова расцвел и засиял, теперь уже «на веки вечные», как выразился президент.

Триумф тоже почти незамеченным прошелестел над головой Тиммо, словно бесшумный летний день. Тиммо работал, читал газеты, слушал у Антти радио и чувствовал, как сам он постепенно становится преданием в чужом эпосе, расхожей цитатой, понятной всем с полунамека, мифическим персонажем, но он рубил себе дрова и рубил, тем и зарабатывал, даже смог купить себе старенький трактор, когда умер Кеви, а потом и крохотный пузатенький вагончик на колесах, этот годный скорее для отправки в утиль агрегат много лет стоял потом в гараже у Антти в ожидании автомобиля, но в конце концов появился и он, американский автомобиль, под которым Тиммо пролеживал все дни, которые проводил в Суомуссалми, и которому предстояло однажды повезти старый вагончик в Инари, Рованиеми или Оулу, если на Тиммо нападет вдруг такая охота.

Но однажды ему подсунули газету со статьей, написанной конечно же американцем, но переведенной на финский, это была большая подробная статья о зимней войне, его, Тиммо, войне, где упоминался и Родион с туфлями, то есть имя названо не было, но говорилось, что в конце января 1940 года в окрестностях Суомуссалми финны взяли в плен русского солдата, который наотрез отказался расставаться с парой алых женских туфель и настолько всех этим тронул, что до самого конца войны бойцы держали его при себе на побегушках, как своего рода талисман. А потом его амнистировали, и он остался жить в Иоенсуу, и у него новая, финская, семья.

Фотографии его в газете не было, да и упомянут он был лишь вскользь, а речь, как всегда, шла о доблестных героях, простившихся с жизнью на дороге между Суомуссалми и Раатеваара, на этой дороге смерти.

Но это было первой каплей, по большому счету, — первой дождевой каплей, нарушившей благодать последнего дня сухого сеностоя. Надо сказать, Тиммо изумился. Возможно, его задело то, что в статье не упомянули его самого, как спасителя Родиона. Но чем больше он все это обдумывал, тем сильнее удивлялся другому: русский

— за столько лет! — даже не пытался отыскать его, а ведь между Иоенсуу и Суомуссалми не какая-то непреодолимая пропасть, нет, только леса и дороги, разве что русского удерживало что-то еще, какая-то внешняя сила или внутренняя, стыд или то загадочное русское чувство, которое никому не дано постичь?

Той осенью, которой предстояло стать не похожей на все уже минувшие послевоенные осени Тиммо, он, по обыкновению, возился с машиной, когда с небес упала вторая капля, вторая статья, построенная на изысканиях норвежского ученого, раскопавшего историю о двух русских евреях, братьях, в кильватере зимней войны перебравшихся в Финнмарк, спустившихся морем, на корабле, южнее, там они оказались в городе Трондхейме, где их приютила семья одного торговца, жившего продажей угля и всякой бакалеи. Но потом война пришла и в Норвегию, все семейство, вместе с братьями-евреями, арестовали немецкие оккупационные власти, потом услали в Польшу, где всех их сожгли.

Небеса разверзлись, как говорится.

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как у Тиммо на глазах Надар и Лев, хромая, ушли по жесткому насту на север, два кривобоких силу-

эта, той светлой весенней ночью братья начали свой немыслимо дерзкий прорыв к новой жизни. Теперь и Тиммо, подобно всем остальным жителям Суомуссалми, стал изучать все, что написали за эти годы об их городе, а это были огромные кипы книг и газет… Суомуссалми оказался для финнов тем же, чем Сталинград для русских, и уже через пару недель после статьи норвежского изыскателя Тиммо наткнулся на репортаж об Антонове и Михаиле. Русский перебежчик заявил (писала столичная газета) представителям западных посольств в Хельсингфорсе, что сотни беженцев, устремившихся после поражения на север, к дому, после пересечения границы были тут же арестованы и расстреляны — как дезертиры. Этот перебежчик назвал примерно тридцать имен, в том числе Антонова — но не Михаила! А когда его спросили, откуда ему это известно, с неохотой признался, что был офицером Красной армии, из чего можно было сделать вывод о его причастности к расстрелам, однако же его можно было считать заслуживающим доверия свидетелем, тем более учитывая приведенные им подробности о судьбе Олега Илюшина, командовавшего всем в Суомуссалми. Тому вместе с тремя офицерами тоже посчастливилось вернуться на

родину, но для того лишь, чтобы трибунал немедленно приговорил счастливчика к смерти: «за то, что сдал врагу тридцать пять полевых кухонь».

У Тиммо ушло много дней на обдумывание всего этого, в одночасье свалившегося на него, точно по заговору, но концы с концами так и не сходились. Тиммо даже поделился своими думами с Антти, который теперь перемещался в инвалидной коляске или на трехколесном мопеде с багажником, передав магазин своему старшему сыну Харри, Антти, у которого всегда начинали бегать глаза, стоило Тиммо заговорить о той военной зиме, которую — как он всегда подчеркивал — только он один из финнов пережил от начала и до конца.

— Можно подумать, что ничего из этого не было, — сказал Тиммо.

— Что ты имеешь в виду?

— Отец мой так говорил: если от чего проку нет, считай, его и не было.

И Тиммо попробовал улыбнуться. Он стоял тут с непрочитанным письмом, и не было у него никаких свидетелей… стоял и выдавливал из себя улыбку, все это было так давно, но словно бы вчера. Ну и что с того? И Антти ответил как всегда: плюнь, Тиммо, вот, еще раз убедился, что

в нынешнем мире все запутано и непонятно, и сколько ни старайся его постичь, ничего не выйдет.

— Но как же его жена? — не унимался Тиммо. Жена Родиона, которая ждала эти туфли, неужели Родион не поехал к ней после всех своих страданий и жестокой разлуки? Вон даже Антонов не справился без семьи, она для человека самое главное, раз уж она у него есть, сам Тиммо ни о чем так не мечтает, как о собственной семье, хотя у него есть Антти.

На это лавочнику нечего было ответить, его вообще мало трогала вся эта история, к удивлению Тиммо.

— Он живет в Иоенсуу, — как будто это был существенный аргумент.

— Угу, — ответил Антти.

— Вот, написано!..

Тиммо навестил и свою учительницу, Марию-Лиизу Лампинен, с тех пор, как красота покинула ее, как разбитая наголову армия, Мария-Лииза озлобилась. Давным-давно пенсионерка, она постоянно сотрудничала с военным музеем в Раатеваара, а к старости прослыла самым лучшим знатоком событий той знаменитой зимы.

Но даже ее не интересовали ни Родион, ни

остальные рубщики; тому, что рассказывал Тиммо, она отказалась верить, — так и заявила ему напрямик! — хотя он размахивал перед ней газетными вырезками, и заговорила в ответ непререкаемым, как у диктора, голосом о «послевоенном синдроме», будто Тиммо был экспонатом из ее военного музея; она не потрудилась хотя бы проявить терпение, на что он все же имел право рассчитывать, а размашисто поставила жирную точку, заявив:

— Надар не еврейское имя.

— Что?

— Я думаю, оно венгерское.

— А Лев?

— Это может быть еврейским, как вариант Леви. Но в еврейских семьях не дают одному сыну еврейское имя, а другому… Да и вообще у тебя с именами какая-то ерунда. У одних только фамилии, Антонов да Суслов, а у других лишь имена; откуда и зачем эта путаница, Тиммо! Ты понимаешь, что я говорю?

Она произнесла фразу по-русски.

— Нет.

— Так я и думала. А этим перебежчикам-русским я вообще не верю. Плетут всякую чушь, лишь бы поверили, им только бы здесь заце-

питься.

— Одного из расстрелянных звали Антонов.

Она взяла у него газету, прочитала и взглянула на него с тем победным выражением на лице, которое он хорошо помнил по временам, когда она была настолько хороша собой, что простить ей можно было почти все.

— Тут сказано, что массовые расстрелы были восточнее Кухмо, а это очень далеко отсюда, Тиммо. Антоновых пруд пруди, ты все это нагородил на ровном месте, а этот толмач, как тебя угораздило сочинить его?

Возвращаясь той ночью домой, Тиммо думал об услышанных новостях, частью хороших, частью плохих, поди их теперь раздели… думал о том, что все это отныне сплошная череда искажений и перелицовок и мало похоже на привычную тишину, ту тишину, за которую отвечают время и границы и которой любой и каждый, он в том числе, мог бы порадовать себя после войны… Думал и заодно удивлялся: как это старая карга не припомнила ему, что он рубил дрова для русских, и ведь эта мегера сама-то ни в чем себе не отказывала, а он рубил дрова для себя, чтобы выжить!

И хотя Тиммо хоть каждый день мог проходить мимо креста на Лонккаиеми, который стоял

там как свидетельство реального существования Суслова, человека с фамилией, но без имени, (похороненного с очками Роозы на носу, хоть эту малость они смогли тогда для него сделать — оставить бедолаге очки), ему все очевиднее становилось, что надо что-то предпринимать, пока его снова не настигли тени, собрать доказательства, так сказать. И в какой-то миг Тиммо осенило: у него же есть прекрасный предлог наведаться к лейтенанту Олли, он жив-живехонек, и до него всего несколько часов езды на восток, в пригороды Каяаани — можно ведь просто постучаться в дверь и потребовать назад свое ружье, которое Тиммо так и не вернули, хотя это было не просто оружие, а семейная реликвия: отец сражался с ним против красных во время гражданской войны, когда Финляндия воевала с Финляндией, а не с Россией… Понимал ли «вечный лейтенант», как дорого Тиммо это ружье?

Воодушевленный этой идеей, Тиммо написал три письма и вернулся в Суомуссалми отправить их, три очень важных письма. Еще несколько дней ему понадобилось, чтобы доремонтировать форд, и однажды в воскресенье в конце октября Тиммо медленно, но уверенно покатил по проселочной дороге в сторону самого крупного

из виденных им городов, а там, поспрашивав, отыскал дом Олли, квадратное сооружение на плоском квадрате земли, покрытом коротким ровным ежиком стриженой травы.

Но и эта экспедиция не приблизила Тиммо к тому, что представлялось ему все более смутным. Олли постарел, облысел, он с трудом ходил и не желал пускать Тиммо в дом, даже сказал, что знать его не знает, наверное, из-за похожего на полынью во льдах провала, появившегося в лице Тиммо, потом признал, но они так и стояли на крыльце, в эту гнилую осеннюю погоду.

— Война? Ружье?

Наверно, его надо искать где-нибудь на складах военного ведомства, но столько лет прошло, не помнит он никакого ружья…

— Но меня-то ты помнишь?

— Ну-у…

Не лейтенант, а сплошное упрямство. Он вроде даже опасался, что ему сейчас предъявят старый счет, потому и разговор получался какой-то нескладный. Тогда Тиммо пустил в ход козырь: тряся перед носом у лейтенанта газетой, прокричал:

— Я уверен… я уверен… что в каждой войне происходят странные вещи!

Всяким непонятностям вдруг нашлось название: странные вещи. Но лейтенанту найденное Тиммо слово соображения не добавило, он дерзко попытался улизнуть, но Тиммо удержал его, продолжив разговор о рубщиках, об этой непостижимой загадке, словно бы старался и теперь спасти их, повторить доброе дело, — ну почему никто ничего не помнит?! Но прежде, чем мысль Тиммо сумела оформиться в нечто определенное, он вдруг заметил, что поляна вокруг дома лейтенанта какая-то чудная.

— А что это такое? — спросил он ворчливо. — Что это за стриженая лужайка, к тому же не жухло-коричневая, как положено в это время года, а сочная и зеленая, будто ведьмин луг?

— Газон, — ответил Олли.

— Чего?

— Это называется газон, так теперь принято, его раз в неделю подстригают.

Тиммо передернул плечами, несколько раз презрительно фыркнул, обозвал Олли старым болваном и сказал, чтоб он шел к чертям вместе с ружьем, и своей вонючей жизнью, и этим стриженым палисадником.

Он слышал, что вслед ему неслись крики, пока он шагал прочь по этому газону, чувствуя под

сапогами податливую мягкость, как когда идешь по мху, шелку, пуху или свежевыпавшему снегу. «С чего это вдруг сейчас тебя разобрало?» — слышал он.

Ничего глупее Тиммо сроду не слыхивал, он обругал дурака еще разок, сел в машину и поехал назад, решив, что надо бы найти какого-нибудь журналиста или студента, — в общем, человека, который умеет складно все излагать, и рассказать ему свою историю, чтобы она была вбита меж двух обложек незыблемо, как скала, и не рассыпалась бы потом на осколочки, как он это только что наблюдал, а оставалась бы целенькой, без заикания и сомнения, и пусть это будет история с чужого голоса и поэтому, возможно, немного другая, но уж, черт возьми, он как-нибудь сумеет уследить, чтобы история не выбилась из нужной колеи, как это свойственно обычно газетной трепотне, это будет *полновесная книга* — ибо у каждого есть право на цельность в собственной жизни, и у хромых, и у слепых, и даже у тех, у кого рожа вместо лица; пусть некоторым требуется для этого помощь, а без помощи где б мы все оказались; это было схоже с бодрой мыслью о воздаянии, это еще одна идея, которую внедрил в душу Тиммо незабвенный Суслов, это когда он,

оскалившись, прорычал однажды Антонову, что «если тебе не нравится история, ну и придумай себе другую, черт тебя подери!».

Тиммо поворачивал эту мысль то так, то эдак… то окончательно решаясь, то отказываясь от своей затеи. Тем временем плотный лес по обеим сторонам дороги растаял в вечерней темноте и начал накрапывать дождь. Тиммо включил дворники, и они исправно работали, и фары исправно светили, и хотя Тиммо для пущей безопасности плелся еле-еле и, завидев — редкие, правда, — встречные машины, останавливался, до Суомуссалми он добрался задолго до полуночи.

Задняя дверь была конечно же открыта, он зашел и сразу лег, и спал так, как ему спалось прежде, пока он не прочитал американской статьи о Родионе; в том газетном рассказе правды было не больше, чем в мутной воде воспоминаний, плещущейся в головах у несчастных людей; только что напечатанное сильнее смущает душу, хотя у их газетного Родиона не было даже имени, но о чем они вообще пишут! Ведь Финляндия не амнистировала бывших русских солдат и не давала им гражданства, сколько бы за них ни ручались, сколько бы за них ни просили даже

самые высокопоставленные офицеры, так что все это басни, которые не стоят и выеденного яйца, а эта старая шкраба тоже хороша: такого очевидного подвоха не заметила.

17

Минула еще одна зима, двадцать шестая с тех пор, как Тиммо Ватанен принял участие в войне, до края наполнившей его жизнь неразрешимыми загадками. И на письма свои он не получил ответа. Но и обратно — из-за того, что адресат выбыл, — они не вернулись. И по ту, и по сю сторону границы царило молчание. Не так уж они были важны, наверно. В конце марта Тиммо исполнилось пятьдесят шесть, и он съел именинный пирог, заказанный сыном Антти у их родственника, кондитера в Хурунсалми, и прибывший автобусом.

Они посидели все вместе в гостиной нового дома Антти, который Тиммо обустроил пандусом, чтобы друг мог въезжать и выезжать на своей коляске.

Гостей было немного, Харри и Юсси с женами, но у них был огромный выводок детей, которые с шумом и хохотом носились по всему дому. На столе появился самогон, и Тиммо в кои-то веки не отказался выпить.

— Я слышал, ты собрался летом в путеше-

ствие? — спросил Юсси.

— Да, — неожиданно совершенно спокойно ответил Тиммо. — Если я починю свой домик на колесах, то хочу съездить в Иоенсуу.

— Иоенсуу? А что ты там забыл?

— Ну, я там никогда не бывал. А ты?

— Тоже. И не вижу никакого смысла ехать туда.

— Вот и я тоже, — засмеялся Тиммо.

За зиму он, пустив в ход свои сбережения, прикупил кое-что для вагончика: новые шины, брызговики с отражателями, емкость для воды в один из шкафчиков над кроватью, укрепил ось двумя штагами, кинул проводок, чтобы горели задние фары.

Он досадовал, что потратил на это так много денег, в Лонкканиеми тоже предстояли расходы: надо было провести в дом электричество, подправить дорогу, чтобы по ней можно было ездить не только на тракторе, но и на машине, не дожидаясь, пока ее скует морозом.

Младшей дочке Юсси было пять, звали ее Тиина, таких красивых деток Тиммо никогда не видал, вот бы все люди так выглядели, все живущие на земле, и теперь она подошла и залезла к Тиммо на колени, плотные и широкие.

— Папа попросил меня сказать, — выговорила она, останавливаясь после каждого слова и смущенно улыбаясь, — раз у тебя день рождения… что без тебя мы бы все замерзли.

Тиммо улыбнулся.

— Красиво сказано, — растроганно произнес он. — Но что правда — то правда. Погоди, я тебя сфотографирую.

Он сходил в вагончик, принес фотоаппарат, сфотографировал Тиину, усевшуюся на стол, потом всех вместе, а потом попросил по очереди Харри и Юсси сфотографировать его со всеми.

— Откуда он у тебя? — спросил Харри о фотоаппарате.

— Купил в прошлом году в Каяаани, — ответил Тиммо. — Первый раз им фотографирую. Видишь циферку — четыре кадра.

Он заночевал в Суомуссалми, провел там почти весь следующий день, возясь с вагончиком, и поехал домой на тракторе только вечером, по льду. Целый день его не оставляло дурное предчувствие, и он думал о Хейкки, перед самой смертью сказавшем ему то же самое: что перед тем, как с ним случился удар, Хейкки чувствовал приближение смерти и ждал ее.

Тиммо поставил трактор на обычное место, под

навес, продолжавший крышу сарая, обошел кругом дом, наконец зашел внутрь и затопил печь. Потом опять вышел на улицу, посмотрел, как поднимается к матовым звездам столб печного дыма, но предчувствие не покидало его. Тиммо вернулся в дом и стал искать письмо Суслова, его не оказалось на месте, на верху шкафа в гостиной, кто-то его взял, а может, это сам он куда-то его засунул, в последнее время он стал страшно забывчив, но вообще-то прошло очень много лет с тех пор, как он стоял перед закрытой дверью и не мог отыскать своего имени.

Он снова вышел из дому и отправился на мыс, взглянуть на крест Суслова, простой деревянный крест, который он уже несколько раз чинил. Утром крест отбрасывал тень к западу, а вечером к востоку, а в полдень короткая тень падала к северу, Тиммо никак не мог додумать свою мысль до конца, что это напоминало овальные солнечные часы, око, если смотреть сверху, но зато он наконец понял кое-что иное: что за тихий, похожий на шелест, вздох доносился из леса и с неба последние сутки, это окончилась война, она завершилась ночью 26 марта 1967 года.